

ВЕ АНАТОМИЯ СЛОВА

РВ
УМ



Семён Маркович

В начале было Слово

Семён Маркович

Анатомия слова

«Автор»

2026

Маркович С.

Анатомия слова / С. Маркович — «Автор», 2026 — (В начале было Слово)

XII–XIII века. Европа переживает тихую, но необратимую интеллектуальную революцию. Слово, веками существовавшее как звучащее откровение, меняет свою природу. Разделённое пробелами, оно перестаёт требовать голоса и уходит в пространство личного, тихого чтения. Переведённое с языка на язык, оно утрачивает точность и начинает зависеть от выбора переводчика. Структурированное в главы, ссылки и алфавитные указатели, оно превращается в инструмент — удобный для извлечения фрагментов и построения аргументов. В университетах Парижа и Болоньи текст больше не принимают как данность. Его анализируют, расчленяют, сопоставляют, используют в споре. Смысл перестаёт быть заданным — он становится результатом интерпретации. Возникает новый порядок, в котором истина не принадлежит автору и не сохраняется в тексте. Она принадлежит тому, кто умеет её извлечь, изменить и доказать.

Содержание

Пролог	5
Глава 1. Гвоздь	6
Документ	10
Глава 2. Барак	11
Реестр задолженности артели северного мола	17
Голос Ребекки	18
Глава 3. Дорога. Берегом	21
Глава 4. Дорога. Через море	32
Глава 5. Дом	36
Глава 6. Век	42
Документ	53
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Анатомия слова

Пролог

Мне предлагали уйти.

В ту ночь, когда в ворота Тампля постучали, Мишель стоял у моего стола, считая на пальцах, как научил: лодка на Сене, три часа до рассвета, в Руане ждут. Двенадцать лет я учил его точности, и он усвоил; расчёт был верный, каждая цифра на месте, каждый час учтён. Если бы я встал, взял Гроссбух и пошёл за ним по коридору, к утру мы были бы далеко, и стул с короткой ножкой остался бы у пустого стола, и чернильница засохла бы к полудню.

Я сказал: нет.

Мишель смотрел на меня, и левый глаз у него дёргался — так бывало, когда цифры расходились с тем, что он ожидал; но он не спросил, а я не объяснил — он бы не понял, как не поняли бы ни Гершон, ни Шимон, ни Лео, для которых наше дело всегда оставалось ремеслом и никогда не становилось верой. Мишель забрал Гроссбух, толкнул дверь плечом и ушёл, и слышал его по коридору — быстрые неровные шаги человека, уносящего чужое.

С той ночи прошло семь лет. Меня допрашивали люди, уверенные, что знают мою вину; они ошибались — не в самой вине, а в её существе. Мои грехи шли глубже их обвинений, и наказание, к которому они вели меня, я принял раньше, чем они его назначили.

Завтра — костёр, а стены этой камеры сложены скверно: камень, раствор с песком, швы в палец; за долгую жизнь я выходил из мест, запертых надёжнее. Одна ночь, две руки — и ни один замок в этом королевстве меня не удержит.

Я не ищу свободы. Я ищу дороги, и дорога эта начинается там, где заканчивается огонь. Я верил в неё, когда ставил первый камень, и когда кричал с толпой на площади, и когда замолчал, и когда сел за стол с чернильницей, которую сто шестьдесят лет не переставлял с левой стороны на правую, и когда сказал Мишелю «нет», — и сейчас, в этой сырой камере, где огарок оплывает и за дверью ходит доминиканец, я верю в неё так же, как верил в тот первый день, когда услышал ладонями звук кривого гвоздя и не понял ещё, что моя жизнь началась.

За стеной кто-то пел — женский голос, без слов, одну мелодию, простую, из тех, что матери передают дочерям и через столетие забывают откуда. Я знал эту мелодию. Я слышал её за другой стеной, в другом городе, в ту первую ночь.

Свеча догорала. За дверью доминиканец ходил — семь шагов туда, семь обратно.

Утром я встану и пойду.

Глава 1. Гвоздь

Стена была кривая.

Не сильно, на два пальца влево от отвеса, но я видел: тот, кто укладывал первый ряд, торопился или был пьян, и теперь каждый следующий камень повторял его ошибку, уводя ряд чуть дальше от линии, которую стена должна была держать. Через двадцать лет она треснет, через сорок завалит кого-нибудь. Я знал это, как знаешь, что хлеб в печи готов, — по запаху, по цвету корки, по звуку, с которым она отвечает, если постучать костяшкой.

Подрядчик стоял рядом, улыбался; зубов у него оставалось пять, и он берёт их для мяса. — Хорошая работа, — сказал он, огладив стену ладонью.

Я промолчал. Спорить с заказчиком, принимающим кривую кладку, — всё равно что выпрямлять гвоздь, вбитый по шляпку.

* * *

Мне было двадцать восемь, или двадцать девять, или тридцать — я давно сбился, не оттого что много лет прошло, а оттого что некому было считать: мать умерла, когда я начал ходить, отца я не помнил, а в артели каменщиков возраст значил меньше, чем умение держать уровень. Если держишь — ты мастер; если нет — ты подсобник; лет тебе двадцать или шестьдесят — стене всё равно.

Иерусалим в те годы строился и разваливался одновременно. Слишком много хозяев, ни одного настоящего. Римляне возводили казармы и акведуки из серого туфа, клали швы ровно, скучно, надёжно — работа без фантазии, зато через двести лет не спросишь, кто делал. Храмовые ставили ограждения, подпорные стенки, лавки для менял на скорую руку, из чего попало, лишь бы к празднику; после праздника лавки разбирали, а стенки нет, и они стояли криво, обрастая чужим мусором, как стоят все временные вещи, забытые без срока. Частники латали то, что осыпалось за зиму: выбитые дождёвками куски кладки, просевшие пороги, пустоты в швах, куда набивалась пыль и воробьи. Город был стройкой.

Я брался за всё: римский туф — так римский туф, храмовый известняк — так известняк. Мне было всё равно, для кого камень; важно было, как он лёг. Правильно положенный держит стену, криво — рушит. Бог тут ни при чём, Богу нужны слова, а слова не моё ремесло.

В то утро я работал на западном склоне, ниже верхнего рынка, у дома торговца маслом, чьё имя я забыл сразу, как услышал. Хозяин хотел пристройку — комнату для сына, который женился и привёл жену, а жена привела мать, а мать привела козу, в доме стало тесно; половина пристройки в Иерусалиме начиналась с козы.

Ури, мой подручный, месил раствор в каменном корыте так, словно наказывал его за личную обиду: бил палкой, ворочал, ругался сквозь зубы. Раствор от этого получался хороший; злость — лучшая добавка к извести. Если бы Ури помирился с жизнью, мой раствор стал бы жидким.

С верхнего рынка доносился обычный утренний грохот: менялы спорили с паломниками, торговец горшками ругал мальчишку, мальчишка ругал кота, кот молчал — он один во всём Иерусалиме знал цену молчанию. Мимо нашей стройки прошёл водонос — старый, босой, с двумя бурдюками на коромысле; одно плечо у него было на три пальца ниже другого — двадцать лет кривого коромысла, и тело подстроилось, как подстраивается стена к осадке фундамента. Водонос посмотрел на мою кладку, кивнул одобрительно и пошёл дальше; видимо, разбирался — у кого плечо кривое от ноши, тот ценит ровную линию.

— Там опять казнят, — сказал Ури, не поднимая головы, кивнув в сторону холма за городской стеной, туда, где дорога на Яфо уходила вверх и пропадала за маслянистыми деревьями. Оттуда несло ветром, сухим и горячим, с привкусом пыли и навоза. — Третий раз за неделю, — добавил он, снова ударив палкой, и раствор чавкнул.

Не обернувшись, я продолжал класть. Римляне казнили часто, так часто, что столбы на том холме не успевали просохнуть от одного тела до следующего. Дерево гнило; я видел те столбы вблизи — дрянная работа, сырой кипарис, плохо обтёсанный, с задирами по волокну. Ни один плотник, знающий дело, не поставил бы на такой столб свою метку. Впрочем, палачу сойдёт: ему важно, чтобы стояло день.

— Говорят, сегодня троих, — добавил Ури, сплюнув в раствор. — Один, говорят, проповедник, из галилейских.

Проповедников в Иерусалиме водилось больше, чем каменщиков. На каждом углу стоял человек, точно знавший, чего хочет Бог, и сообщавший об этом всем, кто не успевал отойти. Одни кричали, другие шептали, третьи пели, и это было хуже всего: мелодия застревала в голове и мешала считать пропорцию раствора — три части песка на одну извести, а если в голове крутится чужая песня, рука сыплет мимо. Каменщик, работающий под пение проповедника, — как плотник, строгающий в дождь: вроде можно, но лучше не надо.

Я положил камень, проверил уровнем — хороший, плотный, местный меллеке, белый, с розоватыми прожилками, тёплый от солнца. Через сто лет он пожелтеет, через двести станет золотым; иерусалимский камень стареет красиво, не то что люди.

Жена торговца вынесла нам воды в глиняном кувшине с отбитым краем. Вода была тёплая, пахла глиной. Поставив кувшин на порог, она окинула меня тем долгим взглядом, каким женщины смотрят на мужчин, работающих без рубахи, и ушла обратно в дом. Руки у неё были красные, в трещинах, руки прачки; я подумал, что она стирает на весь квартал — таких рук не наживёшь на одну семью. Хорошие руки, рабочие; жаль, что хозяйка.

С холма за городской стеной донёсся звук, и я его принял не ушами, а ладонями — руки знают удар лучше ушей: какой молоток, по чему бьёт, с какой силой, под каким углом. Удар железного молотка по железному гвоздю, входящему в дерево; глухой, уверенный, с хорошим вложением — палач знал своё дело.

Второй лёг чуть левее, чуть глуше, и по тону гвоздь шёл прямо.

Третий — и вот тут я поднял голову.

Звук был неправильный: металл вошёл криво, на полтора пальца от оси. Когда гвоздь входит прямо, дерево отвечает коротко, как выдох, а когда косо — скрипит, долго, жалуется. Этот скрипнул, и я слышал — дерево под ним треснет: не сейчас, через час, через два, когда вес тела потянет вбок, трещина пойдёт по волокну, древесина расступится, гвоздь не выдержит, тело осядет на ладонь, на две, пока не упрётся в нижний. Это знание живёт в пальцах, не в голове.

— Криво бьёт, — сказал я вслух, ни к кому не обращаясь.

Ури посмотрел на меня, потом на холм, потом снова на меня.

— Тебе-то что?

Мне до этого дела не было: чужая работа, чужой гвоздь, чужая смерть. Моё дело — месить раствор, класть камень, получить плату к вечеру, купить лепёшек на рынке, пока не закрылся. У каменщика одна забота — стена; всё, что за ней, за стеной и остаётся.

Я вернулся к работе, положил следующий камень, проверил уровнем, выровнял, пристукинул рукояткой кельмы — два коротких удара, чтобы камень сел в раствор. Жена торговца стояла в дверях, на пороге, прижав к груди мокрое полотенце. Коза рядом с ней жевала край верёвки и смотрела в сторону холма с тем выражением, которое у коз заменяет философию.

С холма донёсся крик: не слова, а голый звук, звук человека, которому вогнали железо в тело. Я слышал подобное не раз — на стройке, когда подмастерье прибивал себе ладонь к доске, на рынке, когда упавшая балка придавила ногу торговцу горшками. Крик боли звучит одинаково на всех языках; я думаю, что на этом языке люди говорили до того, как придумали слова.

Ури перестал месить, поднял голову.

— Третьего прибавают, — сказал он. — Того, галилейского.

На мгновение весь квартал замер — прачка в дверях, коза с верёвкой, Ури с палкой над раствором, я с камнем в руке, — а потом всё двинулось дальше: жизнь не останавливается ради чужой смерти, а казни в Иерусалиме были так же привычны, как дожди в месяц кислев и так же бесполезны.

Я положил камень, но звук кривого гвоздя не ушёл. Третий, правый, тот, что вошёл косо и будет скрипеть, пока дерево не треснет; мастер слышит — этот гвоздь не удержит.

К вечеру стена выросла на четыре ряда. Хорошая работа, без спешки; я мог бы быстрее, но торговец платил подённо, а не посдельно, Ури это понимал не хуже меня, и мы работали как положено: не так быстро, чтобы остаться без заработка, не так вяло, чтобы выгнали. Пропорция подённого — три части лени на одну часть совести; как раствор, только наоборот.

Торговец вышел, потрогал стену, провёл ладонью по шву — жест человека, не отличающего хороший шов от плохого, но желающего показать, что разбирается. Я видел подобное сто раз: заказчик всегда трогает стену, будто может пальцем нащупать враньё.

— Завтра закончишь? — спросил он.

— Послезавтра.

Он поморщился, а жена стояла за его спиной, и я видел, что она хочет сказать мужу: не торгуйся, этот знает дело, — но молчала: при чужих жена не говорит мужу, что делать. Коза тоже молчала; у козы был свой взгляд на сроки, но её никто не спрашивал.

Расплатился он мелкой монетой — три лепты, одна с обломанным краем. Я не спорил: монета с обломанным краем стоит столько же, сколько целая, если не показывать её менялам. Менялы — как отвес: всегда показывают кривое, даже когда ты не просил.

Рынок закрывался. Торговцы складывали товар, ругались с покупателями, пришедшими к закрытию за дешёвым; опрокидывали вёдра с водой на каменные плиты, и вода разбегалась между камнями, унося рыбью чешую, ореховую шелуху и ту мелкую дрянь, которую город производит за день и от которой избавляется к ночи. Пахло кунжутным маслом, прогорклым жиром и тем сладковатым запахом мяса, которое не продали вовремя. У выхода из рыбных рядов мясник точил нож о камень, и искра летела в вечерний воздух, и мальчишка рядом с ним ловил искры ладонями, и ни одну не поймал; мясник на него не смотрел — мальчишка, искры, вечер, всё это повторяется каждый день, и завтра тот же мальчишка будет ловить те же искры, и не поймает.

Я купил лепёшку и горсть маслин. Лепёшка была вчерашняя — я понял по корке: свежая гнётся, вчерашняя трескается, — зато маслины хорошие, жирные, солёные, из тех, что давят руками, а не прессом. Торговка, продавшая мне маслины, была немолодая самаритянка с бельмом на левом глазу; она насыпала горсть, посмотрела на меня здоровым глазом, добавила ещё три штуки просто так и отвернулась. За руки мастера, видно: самаритянка знала, что значат ладони в известковой пыли — ими строят, а не крадут. Вор в Иерусалиме ходит с чистыми руками; это честные грязные.

Ури ушёл к себе в нижний город, к Силоамскому пруду, где его ждали жена и четверо детей; каждый вечер он спешил домой, будто боялся, что за день жизнь его разберут на части, как разбирают леса после стройки. Я жил один, снимал комнату у вдовы на западном склоне — тесную, с низким потолком, с единственным окном на стену соседнего дома. Стена эта была сложена скверно: неровный шов, разнокалиберный камень, песчаный раствор, и каждое утро я просыпался, смотрел на неё и думал — ещё год, и она поедет. Это успокаивало; мир вокруг рушился по расписанию, и в этом была своя надёжность.

Вдова оставила мне на пороге кувшин с водой и миску с чечевичной похлёбкой, накрытую тряпкой от мух. Она делала так каждый вечер — не из доброты: я чинил ей стены бесплатно, и чечевица казалась ей справедливым обменом. Может, и казалась правильно: стена стоит дольше похлёбки, но есть стену не будешь.

Я сел на порог с лепёшкой, маслинами и похлёбкой. Город затихал: последние крики торговцев, лай собак, где-то скрипела ставня, чей-то ребёнок плакал на одной ноте, как плачут от голода, а не от обиды. Кошка пробежала по стене напротив — рыжая, с оторванным ухом, деловитая.

Солнце сползало за крыши, тени ложились на камни длинными полосами, косыми, как трещины. Я доел, вытер руки о колени и только тут заметил: порез на левой ладони, полученный утром, когда камень лопнул по скрытой жилке и край полоснул кожу, — затянулся совсем. Утром была кровь, я замотал руку тряпкой и забыл, а сейчас размотал — под тряпкой розовая полоска, тонкая, уже сухая, похожая на шрам недельной давности.

Странно, но не настолько, чтобы задуматься. На стройке всякое бывает; руки мастера заживают быстрее рук писаря — привыкли.

Я лёг на циновку и закрыл глаза. За стеной соседка пела колыбельную, на арамейском; слов я не разбирал, только мелодию, простую, из тех, что матери передают дочерям, а те своим дочерям, и через сто лет никто не помнит, кто спел первым, но песня живёт — дети засыпают, а значит, работает.

Я засыпал, и день этот ничем не отличался от предыдущего: стена выросла на четыре ряда, торговец заплатил, маслины были хорошие, порез зажил.

На холме за городской стеной ещё стояли три столба, на одном из них ещё висело тело, и кривой гвоздь ещё держал — пока держал — правую руку. Но я уже спал и не думал об этом: чужая смерть, чужая работа, чужой гвоздь, и никакого отношения ко мне и моим стенам он не имел.

В ту ночь мне ничего не снилось, а кривой гвоздь скрипел в темноте, один, на пустом холме, и никто его не слышал.

Кроме дерева.

* * *

Документ

Из архива крепости Антония, Иерусалим

Год от основания Города 786, пред календами апреля

Гай Марций Сабин, центурион III когорты, префекту Иудеи через канцелярию крепости — отчёт о расходе материалов и исполнении казней за минувшую неделю.

Казней совершено: три. Приговорённые: двое по статье de latrocinio, один передан синедрионом и утверждён префектом тем же днём, без указания звания, родом из Галилеи. Особых распоряжений от канцелярии не поступало.

Расход по статьям.

Столбов кипарисовых, сложенных по уставу в Т-образную конструкцию, выдано три. Древесина из мастерской Аппия Руфа, поставщика по договору от ноября года 785. Качество низкое: второй и третий столбы из сырого дерева, с задирами по волокну; принимавшее лицо пометки в приходный журнал не внесло. Столбы к возвращению в кладовую не предназначены.

Гвоздей железных, длиной в десять пальцев,ковки мастерской крепости, выдано шесть. Использовано шесть. Из них пять вбиты по уставу, по остывании тел извлечению поддались, возвращены в кладовую, годны к вторичному употреблению. Один, назначенный к правой руке третьего приговорённого, вбит косо по вине подмастерья Квинта, извлечению не поддаётся. Подлежит списанию как имущество утраченное; с довольствия Квинта удержать один ас по уставному положению о порче казённого железа.

По донесению палача Секста: древесина третьего столба у гнезда кривого гвоздя даёт трещину по волокну, к повторному употреблению не пригодна. Списать отдельным актом.

Канатов пеньковых, в три локтя длиной, выдано шесть, возвращено шесть, износ умеренный. Губок морских — три. Уксуса разведённого — секстарий один. Израсходовано полностью.

Жалованье палачам выплачено в уставном размере. Провизия солдатская за день казней выдана по норме на восемь нижних чинов и двух ординарцев. Без остатка.

Итог: казни исполнены в установленный срок, порядок не нарушен, посторонних вмешательств не допущено. Тела сняты по истечении шести часов. Двое переданы родственникам под поручительство; третий — частному лицу по устному распоряжению префекта. Формальная расписка к концу дня не оформлена по причине приближения местного праздника и закрытия канцелярии синедриона.

Подписано: Гай Марций Сабин, centurio.

Внесено в реестр: Луций, libellarius.

Глава 2. Барак

В бараке пахло мокрой шерстью и подмышками, и этот запах был такой постоянный, что никто из нас его уже не чувствовал. Нас было двенадцать. Дюжина каменщиков и подсобников из Галилеи и пустынной Сирии, спавших в одной длинной комнате на досках, застеленных тростником, под единственной лампой, которая у Иоаса на полке гасла к полуночи: масла он жалел. Масло в Кесарии стоило дешевле хлеба, но Иоас жалел по привычке; были люди, которые экономили от бедности, а Иоас — от устройства характера, и это в нём было самое прочное.

Иоас был десятник. Маленький, с кривым носом, сломанным ему в Тире за драку в портовом кабаке; нос сросся так, как срастается всё, что не правят сразу, — повернутым на сторону. Когда Иоас смотрел на море, нос у него, казалось, показывал в сторону Египта, а глаза — в сторону Кипра, и непонятно было, что из двух он разглядывает. Подрядчика мы видели редко — он жил в городе, у моря, ездил в порт раз в декаду — а Иоас был с нами каждый день, и Иоас нас любил, как любят собственный инструмент: не нежно, но бережно — инструментом работают.

Будила нас его дверь. Петли были выкованы криво, и каждое утро отвечали одним и тем же низким скрипом, похожим на голос старой коровы, которой надоело жевать. Иоас открывал дверь, стоял и смотрел на море. Море зимой было серое и недоброе. Иоас всегда так стоял — минуту, две. Считал чаек, я думаю; он их пересчитывал каждое утро и раздражался, когда число менялось, — у Иоаса в голове был порядок, и чайки этот порядок нарушали. Потом оборачивался и говорил что-нибудь вроде:

— Вставайте, псы. Раствор не ждёт.

Псами он называл нас без обиды, так же как нас называл подрядчик, как называли римские инженеры, как называли сами себя. Подрядчик платил нам по псиному: неровно. Раствор действительно не ждал.

Первым поднимался Элиша, старший наш. Ему было за пятьдесят, и работал он в Иерусалиме на достройке Храма; с тех пор он носил эту работу в плечах и коленях, как другой носит титул. Элиша кашлял — сухо, трижды, — сплёвывал у порога и шёл к корчаге. Пил воду три глотка, ни больше, ни меньше, всегда три. Я однажды спросил зачем. Элиша ответил: «Пытался четыре — не идут. Пытался два — мало. Три — в самый раз. Тело знает, я не спорю». У людей, долго работающих руками, появляется такое: тело берёт на себя то, что раньше делала голова, и голова соглашается. Если кто-нибудь из молодых засыпал обратно после пробуждения, Элиша подходил с мокрой рукой и проводил ладонью по щеке. Не шлёпал, а будто клал холодный камень. Молодой вздрагивал и садился.

Я в то утро проснулся сам, до Иоаса. Лежал и смотрел в низкий дощатый потолок, где жили две осы под стропиной и где я знал каждый сучок в лицо. Спать в бараке надо уметь. Звуки там такие: Аммон храпит, как пастушья дудка с трещиной; Марк стонет во сне — спина помнит каждую ночь; близнецы Яир и Досифей сопят в два голоса, попеременно; Тит-сириец скрипит зубами. Всё это — двенадцать человек в двадцати шагах длины. Не привыкнешь — сойдёшь с ума. Я привык за первую неделю.

У каждого в артели была своя странность, и странности эти держали барак крепче, чем брёвна. Аммон за обедом хватал больше своей доли, и Элиша ему молчаливо показывал на чужой кусок, и Аммон возвращал, — и это повторялось каждый день: у Аммона было три младших брата, которых он голодом догонял всю жизнь, и рука у него шла сама. Зато каждый вечер Аммон чинил чужие сандалии — молча, бесплатно, отбирал у молодых стёршуюся обувь, сидел на пороге с шилом и дратвой и возвращал утром. Ни разу никого не просил. Ни разу никто не благодарил. Порядок.

Близнецы Яир и Досифей были одинаковые на лицо, но разные на направление. Яир клал камень лицом на восток, Досифей — на запад. Я спросил однажды, в чём дело. Яир сказал: «Солнце встаёт с востока, камень должен встречать его мытой щекой». Досифей сказал: «Солнце садится на западе, камень должен проводить его добрым видом». Оба считали, что правы; оба считали, что другой — дурак; оба при этом клали хорошо. Элиша однажды сказал им: «Камню всё равно, а вам нет, и это ваша главная беда». Они обиделись и неделю с Элишей не разговаривали, — оба одинаково.

Тит-сириец был единственный из нас грамотный. Писал на трёх языках: арамейском, греческом и латыни — последнюю плохо, но разборчиво. Писал за всех, брал по полуассарию за письмо, стороннему клиенту — по ассарию. Когда я диктовал сестре, Тит правил на ходу: «Барух, так не пишут. "Денег нет" — это для подрядчика. Для сестры — "пришлю, когда смогу". Разница такая: первое — правда, второе — надежда; женщины любят второе». Я кивал, Тит писал по-своему, я соглашался; сестра в Магдале, читая Титовы письма, думала, что её брат человек душевный. Может, так оно и правильно.

Иоас скрипнул дверью.

Мы поднялись по очереди, без спешки, без звука. Утреннее у нас было простое: вода на лицо из корчаги, лепёшка за пазуху, пояс, инструмент. Лепёшки подавала Ребекка, жена Элиши. Она была единственной женщиной в бараке, и её присутствие для нас значило то же, что окно: не замечаешь, пока оно есть, и никуда без него не уйдёшь, если его нет. Она подавала лепёшки из-за занавески, не поднимая глаз. Каждому одну. Мне с двумя щепотями соли сверху: я был тоще других, и Ребекка считала, что мне нужно больше. Я кивал, она кивала в ответ, не глядя.

На дворе было серо и холодно. Февраль. Море за песчаным косогором тянуло туман, и он шёл по земле полосами, ложась сначала на сандалии, потом на колени, потом на пояс. Мы шли к берегу молча. Впереди уже торчали из тумана леса северной стены порта — длинные, в три яруса, с перекладинами, на которых висели корзины.

Кесария-Приморская. Порт построил Ирод, тридцать лет назад или больше, с тех пор город оседал и рос, и римская управа нанимала всё новых подрядчиков, а подрядчики нанимали таких, как я. Нам удлинляли северный мол. Мы клали травертин — привозной, из Умбрии — на подкладку из римского раствора. Раствор у нас был хороший, с вулканической пылью, которую подрядчик брал в ПUTEОЛАХ и возил через всё море; таким раствором, если знать меру, можно класть хоть под водой, и он встанет. Я любил этот раствор. Он пах дымом и известью, и когда ты брал его мастерком из корыта, он тянулся за тобой, как ленивое тесто.

На берегу уже кипело. Разгружали купеческое судно из Александрии: амфоры с вином, мешки с пшеницей, тюки со льном. Грузчик-нубиец нёс две амфоры на плечах и одну на голове и при этом напевал — низко, без слов, ровным ритмом, по которому ставил ноги; я слушал и считал вместе с ним. У него это выходило как счёт, только музыкой; я подумал, что он, видно, из тех мест, где считают не цифрами, а шагами. На третьей амфоре он споткнулся, верхняя качнулась — и я перестал дышать, — но нубиец успел её поймать коленом и поставил на место, не сбившись с мелодии. Мастер; только мастер другого ремесла.

У причала стоял таможенник — грузный, в серой тунике, с кожаной сумкой на поясе. Купец с корабля отсчитывал ему что-то в ладонь, таможенник не смотрел на счёт, смотрел в сторону — так смотрят, когда не хотят видеть, что берут. Потом сунул монеты в сумку, хлопнул купца по плечу, кивнул грузчикам: «Проходите». Тюков в судне было на десять — мимо таможни прошло восемь. Два остальных ушли в город другой дорогой, и это тоже был порядок; в Кесарии каждый крал по своему промыслу, и ему за это не мешали.

Моё место было на верхнем ярусе, на облицовке. Досифей справа, я слева. Яир и Тит работали ниже, на среднем ярусе, на грубой кладке основного тела. Аммон и Марк — подсобники: таскали раствор из творильного ящика, подавали инструмент, собирали обломки. Элиша

в то утро сидел внизу, у стены, и проверял отвесы. Он уже плохо лазал по лесам, колени не держали, и последние полгода его работа была — смотреть и подсказывать.

Я поднялся наверх по верёвочной лестнице с дубовыми перекладами, сел на корточки у своего места, вытащил нитку с углём, натянул её вдоль ряда. Марк подал раствор в плоском деревянном блюде. Я взял мастерок, набрал, положил полоску на верхний край предыдущей плиты, принял новую — травертиновую, длиной в локоть, толщиной в ладонь — из корзины. Плита легла. Я осадил её деревянной киянкой, провёл пальцем по шву, снял лишнее. Пошло хорошо. Так же — вторая, третья, четвёртая.

Мимо лесов прошёл римский инженер — молодой, в красной тунике, с папирусным свитком под мышкой. Свиток у него от ветра развернулся на два локтя, и я увидел чертёж: наш мол, нарисованный сверху, с линиями, цифрами и штрихами, которых я не понимал. Инженер свиток свернул, посмотрел на меня с лесов, видимо, заметил, что я смотрю. Кивнул и пошёл дальше. Первый раз в жизни я видел бумагу, на которой нарисовано то, что я строю. Странная вещь: я знал эту кладку руками, а на чертеже она была другой — плоской, без веса, как стена в чужой голове. Зачем, подумал я, рисовать, если руками видно лучше. Но инженер ушёл, и чертёж ушёл с ним, а я вернулся к своей плите.

К полудню стало солнечно. Туман поднялся. Море обрело цвет, какой у него бывает на этих берегах после зимнего шторма: мутно-зелёный, с белыми прожилками на гребнях. Иоас обошёл леса, посмотрел на мою работу, кивнул — «хорошо, Барух» — и пошёл к Досифею. Того он кивком не удостаивал никогда: Досифей обижался, а обиженный Досифей начинал класть ещё тщательнее, и Иоасу это было выгодно. Иоас знал, когда кого чем кормить.

В полдень Ребекка принесла нам еду в корзине: лепёшки, солёные оливки, сыр и глиняный кувшин с разбавленным вином. Мы спустились, сели у стены, ели молча. Аммон, как всегда, хватал больше своей доли, и, как всегда, Элиша ему молчаливо показывал на чужой кусок, и Аммон, как всегда, возвращал. Этот ритуал был у нас на каждой обеде, и он был нужен — не из-за куска, а из-за порядка: в бараке, где нет порядка, люди дерутся, а когда дерутся — не работают.

Ели, и я смотрел на Элишу. Он был бледный и за утро не сказал ни слова. Это было не по-Элишиному. Обычно он во время обеда рассказывал что-нибудь короткое — про Иерусалим, про одного каменщика, которого там знал, про то, как надо точить зубило для гранита. А тут сидел и ел, и даже от сыра отказался, отдал Аммону.

— Ты чего? — спросил я.

— Простыл, — сказал Элиша. — С утра горло. Ребекка заварит с мёдом вечером.

— Сегодня обратно полезешь?

— Не полезу. Я тут отсижу.

И отсидел. После обеда я полез наверх один, Досифей работал со своей стороны, мы переговаривались через стену.

К вечеру мне заплатили. Не мне лично, а Иоасу — Иоас вынес из будки на берегу кожаный мешочек, подрядчик в тот день приехал впервые за три недели. Мы собрались у будки, встали в очередь. Иоас отсчитывал каждому в ладонь. Мне положил семь динариев. За месяц работы полагалось двенадцать.

— Это что?

— Это пока столько. Остальное в следующий раз.

— Иоас, четвёртый месяц.

— Я знаю, Барух. Ты поговори с ним сам, если хочешь.

Я посмотрел в сторону будки. Подрядчик сидел за столиком и вписывал что-то в свиток с тремя печатями — тот самый, которым прикрывался всякий раз, когда его спрашивали о задержках; рядом стоял римский солдат — подрядчик всегда ездил с охраной: платил меньше, чем договаривался, и знал, что однажды кто-нибудь захочет поговорить.

— Поговорю.

— Смотри не спорь. Он не любит.

— Я знаю, что он не любит.

Я пошёл к будке. Солдат посторонился, он меня знал в лицо, мы все друг друга за год на стройке выучили. Я вошёл. Подрядчик поднял голову. Толстый, с крашеной бородой — он красил её хной, чтобы не показывалось седины, и борода от этого была рыжая, как старая черепица; седина под хной всё равно пробивалась, и борода получалась двуцветная, полосатая, как ряд плохо подобранных камней. Он посмотрел на меня, на мои семь динариев в руке, и улыбнулся вежливо.

— Барух. Что у тебя?

— У меня пять недостающих. Четвёртый месяц.

— В следующий раз.

— Ты говоришь это в четвёртый раз.

— Говорю, значит, так. Барух, ты хороший работник. Иоас говорит, у тебя руки не промахиваются. Тебе платят столько, сколько есть. Будет больше — заплатим больше.

— Я должен сестре в Магдалу.

— Сестре?

— Да.

— Сестра подождёт. Сестры ждут всегда.

Он смотрел на меня, не переставая улыбаться; улыбка была бесплатной, пять динариев — нет. Если я сейчас поспорю, в следующий месяц он мне заплатит ещё меньше. Так он и работал. Кого давили — платил нормально, кто уступал — тому постепенно уменьшал. Я был из тех, кто уступал. Мне нужна была работа, я ушёл из Магдалы, я не мог вернуться и признаться.

Я вышел. За спиной солдат что-то сказал подрядчику, тот засмеялся. Я пошёл к бараку, думая, что надо потерпеть ещё месяц, потом ещё, и к лету, может быть, подрядчик рассчитается.

*

Элиша слёг в тот же вечер. Горло перешло в грудь, грудь — в озноб. Он лежал на своей койке, и Ребекка сидела рядом. Я принёс ему воды, Аммон — свою лепёшку, которую сам не доел; Элиша поблагодарил, отпил глоток, откусил раз, отдал Аммону обратно. Дышал он с трудом. Ребекка заварила что-то с мёдом и чесноком, Элиша выпил. К ночи стал кашлять густо, и в кашле у него что-то булькало. Плохой кашель. У нас дома в Магдале с таким кашлем умирали за три дня, если зимой.

Элиша умер через пять дней. Пять дней — это дольше, чем у нас в Магдале, но Элиша был крепкий, и Ребекка над ним не засыпала, и Иоас принёс из города врача-сирийца. Врач пришёл, послушал грудь через тростниковую трубку, покачал головой, оставил мешочек с сушёными травами и сказал: «Пейте. Не поможет — ничего другого не сделаю». Травы не помогли. Этот врач мне понравился: за всю Кесарию единственный честный человек; сказал, что не поможет, и не соврал. Подрядчику бы у него поучиться.

В последнюю ночь Элиша был в сознании. Он позвал меня.

— Барух.

Я подошёл, сел на пол у его головы. Ребекка отошла к двери, чтобы не мешать. Элиша говорил в перерывах между вздохами.

— Ты поедешь в Магдалу?

— Нет пока.

— Поедешь. Потом. Передай Ривке, что я её благословляю.

— Ты её не видел.

— Я тебя видел. Ты хорошо отзываешься о сестре, значит, сестра хорошая. Передай.

— Передам.

— И уходи из Кесарии, Барух.

— Почему?

— Подрядчик тебе не заплатит. Он никогда никому всё не платит. Дождёшься, что тебе за полгода должны будут, — и он к тебе не выйдет, а Иоас пожмёт плечами.

— Куда мне идти?

Элиша закашлялся, долго, с бульканьем. Отдышался.

— Куда хочешь. Только не обратно. В Галилее работы нет, римская управа подати задрала, подрядчики платят копейки. Тебе двадцать восемь, ты каменщик, у тебя руки. Иди туда, где стройка.

— Иерусалим?

— Иерусалим умирает. Стены стоят, но храма нет. Стройки нет. Иди в Антиохию или дальше. В Риме стройка не кончается.

— В Рим далеко.

— Далеко. Дойдёшь за полгода. У тебя ноги есть.

Он закрыл глаза. Я подумал, что он уснул, встал, чтобы отойти, но он сказал ещё:

— Барух.

— Да.

— Сумку мою возьми. Там отцовские свитки. Костоправные. Не продавай — пригодятся, если кто рядом сломается.

— Я читать не умею.

— Не умеешь. А Тит умеет. А в Риме найдётся, кто прочтёт. Возьми.

Я взял сумку. В ней было пять свитков. Я их не открывал, просто положил у изголовья Элиши, пока он был жив, а потом забрал с собой.

Элиша умер на рассвете. Ребекка его не плакала при нас — она вышла во двор, к колодцу, и там, у воды, стояла долго. Плакать при двенадцати мужчинах она не могла — в бараке женщину не видят плачущей, иначе она перестает быть окном и становится чужой. Я видел её со спины — прямую, неподвижную, у колодца. Подошёл, ничего не сказал, постоял рядом. Она кивнула, не оборачиваясь. Так мы постояли с четверть часа, потом я пошёл обратно в барак.

Хоронили в тот же день, перед закатом. В Кесарии иудейского кладбища нет; есть самаритянское, есть греческое, иудеев хоронят у стены, за городом, в песке. Песок съедает за десять лет — через десять лет наших в Кесарии не найти; у города и для живых места впритык. Мы выкопали яму впятером — я, Досифей, Яир, Марк и Аммон. Иоас копать не стал, он стоял и смотрел. Ребекка сидела у головы Элиши, завёрнутого в льняную простыню. Ни один из нас не умел как положено над ним читать, но Тит-сириец прочёл что-то по-арамейски, своё — мы не знали что, и Ребекка, кажется, не знала, но слушала и кивала. Потом мы его опустили, засыпали, положили сверху три камня.

Подрядчик на похороны не приехал.

*

Я решил уйти в ту же ночь. Не с утра, а сразу — так делают, когда не хотят прощаться. Инструмент в сумку: молоток с коротким бойком, три долота, свинцовый отвес, нитка с углём, точильный камешек. Свитки Элиши — туда же. Семь динариев от подрядчика в пояс. Ещё два динария — мои, накопленные за четыре месяца, лежали у меня в потайном кармане туники; их я оставил Ребекке. Положил рядом с её корчагой, чтобы утром нашла. Записку писать не стал — Тит спал рядом, разбудишь и всё.

Вышел из барака, когда Иоас ещё не открыл дверь. Дверь была прикрыта, но не заперта. Я толкнул её ладонью, петли ответили мне привычным скрипом. В последний раз. Я сказал про себя: «Прощайте, Иоасовы петли», — и вышел.

Снаружи стоял серый предрассветный свет. Туман поднимался с моря и шёл по земле. Двор был пуст, мул у восточной стены посмотрел на меня длинным мулиным взглядом и зажевал. У костра никого не было.

Я пошёл к западным воротам. Там уже просыпались торговки рыбой — одна старуха раскладывала камбалу на плоском камне, камбала лежала рядами, жабрами вниз, хвостами к морю. Старуха на меня не посмотрела. Её собака — худая, с впалыми боками — вильнула хвостом, узнавая. Я прошёл. Камбала в Кесарии всегда так лежит — головой к стене, хвостом к морю, будто до последнего помнит, откуда пришла. Я об этом подумал и подумал, что и сам такой же: куда бы ни шёл, голова всё равно повернута в сторону Магдалы. Разница в том, что камбала об этом не знает, а я знаю, и от этого идти труднее, — хотя, может быть, и легче.

За воротами начиналась дорога. На юг — в Иоппию. На восток — в Галилею, к Ривке. На север — вдоль моря, до Птолемаиды, а потом в глубину, через Антиохию, в Сирию, в Каппадокию, дальше — в Малую Азию, к проливу, к морю, и за морем — в Италию, в Рим.

Я пошёл на север.

Не по зову и не по плану. Элиша так сказал перед смертью; в Магдалу вернуться я не мог; на юге стройки давно остановились; а на востоке ждала Ривка, которой я четыре месяца не посылал денег, — и встретить её я не мог.

Свет поднимался у меня за спиной, над Кесарией, над морем, над строящейся стеной. Туман шёл впереди и немного со мной — уходил на запад, к морю, чтобы там раствориться. К полудню я прошёл тридцать стадий. Сел у ручья, съел лепёшку, которую взял в бараке, и пошёл дальше.

Так началась дорога.

* * *

Реестр задолженности артели северного мола

Кесария-Приморская, провинция Иудея

год от основания Города 788, месяц март

Подрядчик: Публий Корнелий Аттик, мастерская приморских работ.

Старший по артели: Иоас, сын Иосе, десятник.

Работы: удлинение северного мола, ярус верхний и средний, поярусная облицовка травертином.

Список работников и состояние расчёта:

Элиша, сын Шмуэля, мастер каменной кладки, стаж на объекте — полтора года. За минувшие четыре месяца начислено к выплате 48 денариев. Выплачено 24. Недоплачено 24 денария. Работник скончался от простуды в месяце марте сего года; к списанию долга перед наследниками предложено 12 денариев в качестве окончательного расчёта, остальное списать как «убытки стройки». Вдова уведомлена через десятника в устной форме.

Барух, сын Натана, мастер каменной кладки, стаж на объекте — один год два месяца. За минувшие четыре месяца начислено 48 денариев. Выплачено 31. Недоплачено 17 денариев. Работник самовольно оставил объект в ночь на семнадцатый день месяца, расчёт не произведён. Поощрение за усердие — 1 ас. К списанию — остальная сумма как «потеря сбежавшего работника».

Досифей, сын Кайафы, мастер каменной кладки. Недоплачено 9 денариев, расчёт отложен до следующей декады.

Яир, сын Кайафы, мастер каменной кладки. Недоплачено 9 денариев, расчёт отложен до следующей декады.

Тит, сын Халеба, мастер каменной кладки, писарь артельный. Недоплачено 11 денариев. Дополнительно начислено 3 асса за ведение переписки артели. Итого к выплате — 11 денариев 3 асса. Выплата предполагается в следующий приезд подрядчика.

Марк, подсобный рабочий. Недоплачено 6 денариев.

Аммон, подсобный рабочий. Недоплачено 6 денариев. В протоколе десятника отмечено «ест с чужого блюда»; вычет не наложен.

Прочие (четверо подсобников) — недоплачено по 5 денариев, выплата в следующую декаду.

Итог по задолженности: 92 денария 3 асса.

Поощрений к выплате: 1 ас (см. выше).

К списанию на убытки стройки: 36 денариев (Элиша, Барух).

Составлено писцом Гаем Флавием по устному распоряжению подрядчика.

Печать подрядчика приложена.

* * *

Голос Ребекки

Утро было серое. Туман с моря шёл по двору как вчера, и позавчера, и три дня назад, когда Элиша ещё дышал. Туман не знал, что Элиши больше нет; туман шёл, как ему положено, до полудня.

Я встала раньше всех, как всегда. Это моя работа — встать раньше, поставить воду на огонь, замесить тесто на лепёшки, разбудить мужчин. У нас в бараке мужчин было двенадцать; теперь одиннадцать — без Элиши, — а считая Баруха, ушедшего ночью, десять. Я это посчитала, пока шла к корчаге: десять лепёшек. Раньше было двенадцать. Между двенадцатью и десятью — мой муж и мальчик-галилеец, которого я больше не увижу.

У корчаги лежали две монеты — серебряные, по динарию. Я их не заметила, пока не нагнулась за водой, и нагнувшись, увидела. Две монеты, положенные рядом, одна к другой, ровно, как каменщик кладёт блоки. Я сразу поняла, кто их положил. Барух был единственный, кто клал вещи так, — как будто и монеты надо уложить правильно, чтобы не съехали.

Я их не взяла. Стояла, смотрела. Два динария — это двадцать лепёшек, или мешочек соли, или починенный подол юбки, или уголь на неделю. Два динария Барух копил четыре месяца, я знала — он говорил Элише, когда думал, что я не слышу. Копил в надежде вернуться в Магдалу и привезти сестре. Сестру звали Ривка, ей было семнадцать, и мне он её показывал иногда — не лицом, не словом, а тем, как останавливался, когда я раздавала лепёшки, и как забирал свою, не глядя. Мужчина, у которого есть младшая сестра, ест лепёшку определённым образом — осторожно, как будто её кто-то другой ещё ждёт.

Я оставила монеты. Налила воды, поставила на огонь, пошла к очагу. Подумала: когда вернётся, заберёт. Если вернётся.

Потом одёрнула себя — не вернётся. Барух из тех, кто уходит по-настоящему. Он ушёл ночью, чтобы не прощаться, — так делают только те, кому некуда приходить. Два динария — это прощание.

Тогда я эти монеты взяла. Не сразу. Сперва вымешила тесто, поставила подходить, растопила посильнее очаг, разбудила Аммона и Марка — они самые молодые, они носят воду. Потом, когда в бараке уже стало слышно, как мужчины кашляют и переворачиваются, я вернулась к корчаге и монеты взяла. Положила в пояс, под тунуку, в тряпицу, которую Элиша мне дал два года назад — завернуть деньги, сказал, на чёрный день.

День был сегодня.

Иоас вышел первым, как всегда. Остановился в дверях, посмотрел на море. Море было серое. Иоас постоял, оглянулся во двор, увидел меня у очага и спросил:

— А Барух где?

Я подала ему лепёшку, не глядя.

— Ушёл.

Иоас молчал. Он не удивился; Иоас давно перестал удивляться тому, кто ушёл и кто пришёл.

— Когда?

— Ночью. До твоей двери.

Иоас покачал головой, взял лепёшку, стал жевать.

— Полгода отработал и сбежал. Подрядчик скажет: украли на полдинария.

— Подрядчик должен ему пять. А сам Барух никому не должен.

Иоас посмотрел на меня искоса — он не любил, когда я так говорила. Но спорить не стал; Иоас спорил с мужчинами, с женщинами только хмурился.

— Ладно. Меньше ртов.

Пошёл к морю.

*

Хоронили вчера. Не хоронили — положили Элишу в яму у стены, за городом, в песке. Без каменного ящика — иудейского кладбища в Кесарии нет, хоронят просто, в земле. Три камня сверху — чтобы лисицы не разрыли и чтобы через месяц можно было найти. Сегодня я пойду туда снова, одна. Мужчины уходят на стройку, я останусь с корчагой и тестом, и в полдень, когда хлеб будет в печи, у меня есть два часа — дойти до стены, посидеть у камней, вернуться.

Я сидела в то утро у огня и думала про Элишу. Не про смерть; про то, как я его буду пересчитывать. Когда муж умер, его надо пересчитать. У меня всё было в Элише: я считала дни — Элишиными получками, дни недели — Элишиной стиркой (раз в декаду), праздники — Элишиной синагогой, в которую он в Кесарии не ходил: не было у иудеев-подёнщиков времени на синагогу, и мы делали её дома, у себя в углу, с тремя свечами. Теперь всё надо пересчитать — на меня одну. Получки больше нет. Стирка остаётся. Свечи остаются. Мужчин в бараке сегодня одиннадцать, завтра столько же, послезавтра — кто знает. Подрядчик всё равно не заплатит.

Пять свитков — отцовские, костоправные, — Элиша оставил Баруху, и Барух их унёс. Это хорошо. Свитки в бараке никому не нужны, а Баруху по дороге может встретиться кто-нибудь сломанный. Элиша говорил: свитки должны работать, а не лежать. Сами свитки он ни разу не читал — он не умел. Но отец его читал, и Элиша знал их наизусть — как формулы. В этом весь Элиша: не умел читать, но знал, что написано. Руки помнили голос отца.

*

В полдень я пошла к стене. Взяла с собой кусок лепёшки, немного соли в тряпице, маленький бурдюк с водой. Шла через город, через рынок — рынок был полон, торговали луком, сыром, вяленой рыбой, солёными маслинами, сушёным инжиром. Торговка инжиром на меня посмотрела и отвернулась — не со зла, а оттого что я шла в чёрном, и торговки в Кесарии знают: к женщине в чёрном сегодня не обращаются, она завтра вернётся, тогда торгуйся.

У стены — пустое место, песок, жёсткая трава, несколько камней-пограничников с именами тех, кого вспомнили. У Элиши имени пока не было. Я не написала — не умею, да и некому было вырезать. Я села рядом с тремя камнями, положила у них кусок лепёшки, посыпала солью. Это не иудейский обычай; это я от самаритян подсмотрела, они так делают — кормят покойника в первый день. У нас положено молитву, но молитву я знала только в отрывках, Элиша её читал раз в год, на Йом-Кипур, а я подпевала, не зная слов.

Я посидела. Солнце вышло из-за туч, тень моя легла косо, как косыми полосами ложатся вечерние тени на каменные плиты в городе. Я подумала: Элиша мой умер от простуды, в шестьдесят. У нас в Галилее с такой простудой умирают за три дня; он держался пять — потому что Иоас сходил в город за врачом, а я не засыпала над ним пять ночей подряд. Пять ночей — это мой вклад в его жизнь. Мой последний.

Подрядчик на похороны не приехал. Барух это заметил — я видела, как он это заметил, стоя у ямы. Он ничего не сказал, но лицо у него стало таким, каким оно становится у каменщика, когда заказчик принял кривую кладку. Барух ушёл ночью — я думаю, из-за этого тоже. Не только из-за недоплаты. Из-за того, что человек, которому ты положил стену, на похороны не пришёл.

Я посидела ещё. Потом встала, отряхнула юбку и пошла обратно. На обратном пути я зашла к жестянщику за сковородой — дно прогорело, надо было заклепать. Жестянщик — старый, с бельмом на правом глазу, сириец — взял сковороду, посмотрел на меня, на чёрное, и сказал:

- Это к завтрашнему утру.
- Я заплачу.
- Завтра и заплатишь. Сегодня не беру.

Я поклонилась ему и ушла. Такие вещи в Кесарии бывают. Не часто, но бывают. Жестянщик не знал Элишу; но он знал чёрное.

*

Вечером в барак вернулись мужчины. Иоас пришёл последним — у него всегда последние обходы. Все ели молча. Тит-сириец сказал одно:

— Без Элиши стена идёт быстрее. Он медленно проверял.

Никто не ответил. Досифей плюнул в огонь — он всегда так делал, когда чувствовал, что кто-то сказал не то. Аммон доел и пошёл укладываться. Марк унёс посуду к корчаге. Иоас посмотрел на меня, как на вещь, которую ещё не решил — оставлять в бараке или нет.

— Ребекка.

— Да.

— Ты остаёшься?

Я не сразу поняла. Потом поняла.

— Остаюсь. Куда мне?

— В Магдалу не хочешь?

— У меня в Магдале никого. У Элиши была племянница в Арбеле, но её муж меня не возьмёт — у них своих шесть ртов. А в Кесарии я хоть кормлю двенадцать мужчин и получаю за это крышу и еду.

— Одиннадцать.

— Одиннадцать, да.

Иоас кивнул. Ему было удобно, что я остаюсь. Кто-то же должен печь лепёшки.

Я легла на свой матрас за занавеской, где раньше лежала с Элишей, и одеяло было с одной стороны холодное — там, где он не лежал сегодня. Я не плакала. Плакала три ночи подряд, пока он ещё дышал, а на четвёртую слёзы кончились; вчера у ямы я стояла сухая, и сегодня тоже.

Подумала: Барух сейчас где-то на дороге к Птолемаиде. Идёт по берегу один. Я не могу ему пожелать ничего; я не знаю, во что он верит, и не знаю, дойдёт ли он куда-нибудь. Но я пожелала ему — не словами, а тем, как желают человеку, который ушёл молча и оставил тебе два динария у корчаги. Чтобы его стена на следующей стройке стояла ровно. Чтобы подрядчик, на которого он будет работать, платил в срок. Чтобы сестру его в Магдале не выдали замуж за кого попало.

И ещё — чтобы он когда-нибудь перестал считать за уходящих.

Он считал, я видела. Люди, которые всё считают, — это люди, у которых что-то не сошлось в начале. У Баруха не сошлось, я это видела по его рукам: они слишком правильно клали монеты. Ровно кладут те, у кого много ушло.

Я не знаю, что с ним будет. Знаю только: из нашего барака он унёс два инструмента. Мой — свитки Элиши. Второй — привычку не прощаться.

Не знаю, научится ли.

Я закрыла глаза и заснула. Мне снилась Магдала. Я её никогда не видела; мне она при снилась как Кесария, только без моря.

Глава 3. Дорога. Берегом

До Антиохии я шёл полтора месяца. Не от долгого пути — по берегу до Селевкии добрая тысяча стадий, это три недели с отдыхом, — а оттого что сворачивал везде, где можно было работать.

Работа находилась неровно. В Доре починил колодезное кольцо у храма Диониса — плата четыре асса и миска чечевицы. Жрец храма — жирный сириец в белой тоге, подпоясанной плохо — смотрел, как я кладу, и подбадривал меня словами, смысла которых я не понимал: он читал по-гречески нараспев. Я ему кивал на каждое пятое слово; он был доволен. Работа вышла ровная; Дионис, наверное, не возражал, раз не прислал дождя.

Вечером, когда я закончил, жрец позвал меня в боковую пристройку к храму — каморка с низким потолком, с очагом посередине, со столом на козлах. Налил мне вина, не разведённого, какое полагается в храме. Вино было красное, густое, отдавало смолой. Я отхлебнул и собрался уходить. Жрец меня не отпустил.

— Погоди, — сказал он по-гречески, а потом, видя, что я не понимаю, перешёл на ломаный арамейский. — Ты иудей?

— Иудей.

— Ваш бог один?

— Один.

Он покачал головой, налил себе, выпил.

— Один — скучно. У нас Дионис и Деметра, и Аполлон, и все остальные. А Дионис — лучший. Знаешь почему?

— Нет.

— Он умирает каждый год. Осенью. И весной возвращается. Каждый. Год. — Жрец поднял палец, повторяя: — Каждый год. А твой что? Твой бог что делает?

Я подумал. Я не знал, что Бог делает. Я не задавал этого вопроса; у меня были кладка, еда и сестра в Магдале, и Бог в эти три статьи не входил.

— Не знаю, — сказал я. — Молчит.

— Вот! — Жрец ударил ладонью по столу. — Молчит! А мой каждый год умирает и возвращается. Из них двоих кто живее?

— Твой, — сказал я, чтобы ему было приятно.

Жрец улыбнулся, налил мне ещё. Я отпил вполовину, поблагодарил, ушёл. На выходе я посмотрел на храм — работа небрежная, колонны ставили в спешке, одна ниже другой на полпальца, капители разные, потому что брали из двух мастерских сразу. Храм бога, который умирает и возвращается, а капителей не подогнали. Странная вера, но свои у неё основания — мир у жреца помещается в один год: умер, ожил, снова умер. У меня мир помещался в одну кладку. Масштабы мы не сравнивали; я допил вино и пошёл спать.

В Аполлонии две недели чинил стену сарая у одного галилейского вдовца, который мне не доплатил: галилейский вдовец; с него я получил половину, и то после того, как пригрозил, что разберу ему ту же стену обратно. В углу его дома висела занавеска, за которой он оставлял миску с едой каждое утро — для жены, умершей шесть лет назад. Еда к вечеру стояла нетронутая, и вдовец ел её сам — молча, не глядя на занавеску. Я спросил один раз, зачем так; он ответил: «Привыкла получать, неудобно не давать.» Больше я не спрашивал.

В последний вечер, когда я заканчивал стену и собирался наутро уходить, вдовец подсел ко мне с кувшином разбавленного вина. Он был несильно пьян — галилейские вдовцы пьют мало и пьянеют много. Мы выпили. Помолчали. Он сказал, глядя в огонь:

— Она меня там встретит.

— Где?

— Там. После. Если есть где.

— А ты думаешь — есть?

— Я не думаю. Я надеюсь. Думать мне нечем — я печник, не книжник.

— Печник и каменщик рядом, — сказал я. — Мы оба работаем с тем, что стоит.

— Вот и я про то. Если стоит — значит, кто-то положил. А кто положил стену, может, сложил и место, куда она ушла. Я не знаю. Но утром ставлю миску; если есть — пусть знает, что её помнят. Если нет — я её сам ем, и тоже не впустую.

Он помолчал, отхлебнул.

— А ты как?

— Я иду в Рим.

— Я не про это. Я про то — веришь?

— Не знаю. Меня не учили.

— Хорошо, что не учили. Научат — потом бросать придётся. Свои — лучше. Свои с опытом согласованы.

Он встал, собрал кувшин, ушёл в дом. Я допил то, что осталось в чашке, и лёг спать. «Свои с опытом согласованы» — эта фраза осталась у меня на всё утро, как хороший раствор на пальцах: не сразу смоешь.

В Кесарии Филипповой остановился на три дня, чтобы согреться и отъесться, и там хозяин постоянного двора с меня содрал вдвое: видел во мне путника издалека, а путник издалека всегда платит вдвое. За ужином в общем зале напротив меня сидел слепой старик-паломник с ребёнком-поводырем; ребёнок — мальчик лет семи — подносил старику ложку ко рту, а старик, жуя, цитировал вслух что-то по-гречески, длинное, с ритмом. Я узнал ритм: шесть камней по дуге, замок, шесть на спуск — арка. Мальчик ел хлеб обеими руками. Старик ел и говорил, а мальчик ел молча — разделение труда в их маленькой артели мне понравилось.

Когда старик доел, мальчик утёр ему губы, и старик повернул лицо в мою сторону — хотя меня не видел, знал, что я слушал.

— Ты греческий понимаешь?

— Нет.

— А слышишь.

— Слышу.

— Этого довольно. Греки писали так, что понимать не обязательно — достаточно, чтобы стояло. Как у вас в Иудее?

— У нас пишут иначе. Короче.

— Короче не значит хуже. Короче значит — на кости. А у греков на теле. И на теле, и на кости — нужны оба.

Он отвернулся, опершись на плечо мальчика. Мальчик повёл его к лестнице. На ступеньках старик попросил: «Повтори мне, что он сказал.» Мальчик повторил: «Что пишут иначе. Короче.» Старик кивнул, засыпая на ходу. Так они и пошли наверх — старый гекзаметр и маленькая арка под его локтем.

В Птолемаиде я задержался на десять дней. Там была таможня у моря, у пола потрескалась кладка, таможенный чиновник в сырую зиму плохо спал: из-под пола тянуло холодом. Меня прислал к нему галилейский жестянщик Натан, которому я чинил заодно дымоход — за ночёвку на сеновале. Натан был сдержанный, прилично торгующий. Кормил меня овечьей брынзой и ячменным пивом, ничего не спрашивая, кроме имени. Жена его, полная молчунья с большими красивыми руками, ставила миску на стол и уходила.

Таможенный чиновник, сириец-эллинист по имени Посидоний, был молодой, ушлый, и платил хорошо — десять динариев серебром, не торгуясь. У него в кабинете за перегородкой сидел писарь — грек с плохим почерком — и день за днём переписывал накладные на папирус, ставил печати, складывал в ларцы; бумаги в том кабинете было больше, чем камня, и пахло

не морем, а воском и чернилами. Иногда писарь останавливался, потирал костяшки пальцев, вздыхал и говорил сам себе по-гречески: «ἄλλος τόμος» — ещё один том; я за десять дней запомнил эту фразу и потом, в Антиохии, сказал её Бар-Шимону как шутку, но Бар-Шимон по-гречески не понимал, и шутка не сошла. Я за десять дней сделал Посидонию пол: выбил старый раствор, промыл, просушил, переложил низ двумя рядами римской кладки, с вулканической пылью, которую Посидоний специально заказал из Путеол. К последнему дню получилось так, что не только не тянуло, но по утрам на полу у стены проступала сухая корка солей — признак, что стена пьёт влагу снизу и уносит её наверх, в слой тепла. Посидоний был доволен. Дал мне сверху ещё два асса «на дорогу» и кусок сыра.

Натан на прощание положил руку мне на плечо. Рука была лёгкая, нерешительная, будто он не был уверен, принято ли у нас так прощаться, но выбрал всё равно попробовать.

— Если пойдёшь в Антиохию, — сказал он, — ищи там улицу Сингон. Это у стены, внизу, рядом с сирийскими складами. Улица кривая, но тихая. Там живёт мой шури́н, Бар-Шимон. Он пекарь. Скажешь, что от Натана. Он даст пристанище.

Я пообещал передать поклон и пошёл на север.

*

Антиохия стояла под горой, которая называлась Сильпий. Город вытянулся у подножия вдоль реки Оронт, как человек, прилёгший отдохнуть. Такого большого города я ещё не видел. Иерусалим был плотный и каменный, но малый; он ходил шагом. Антиохия шла рысью. На главной улице — мощёной, с двумя колоннадами — стояли повозки в четыре ряда, шли люди сплошным течением, и голоса на четырёх языках перекрывали друг друга. Я прошёл по колоннаде, ошеломлённый, стараясь не зацепиться плечом о чью-нибудь ношу.

Мимо меня пронеслась колесница — возница в синем плаще, ругаясь по-сирийски, лошадь в мыле; я прижался к колонне, колонна была сложена ровно, на ощупь хорошая кладка, гранитный барабан на гранитном барабане, швы в полпальца. Рядом со мной, у подножия колонны, сидел сапожник — маленький, лысый, с фартуком в разноцветных пятнах — и чинил сандалию, разговаривая с ней по-арамейски: «стой ровно, дура, не виляй, я тебе за виляние не платил.» Сандалия не отвечала, но, судя по тому, как сапожник тянул ремешок, слушалась. Дальше по колоннаде стояла женщина с корзиной яиц и смотрела в небо, словно пересчитывая облака. У дверей бани голый нищий в одной набедренной повязке зычным голосом рассказывал проходящим о конце света — конец, по его словам, должен был наступить со дня на день; прохожие бросали ему мелочь за ранее предупреждение.

Я свернул на боковую улицу и спросил у первого встречного про Сингон. Встречный — смуглый сириец в синем плаще — посмотрел на меня и показал вниз, к реке. Я пошёл вниз.

Улица Сингон оказалась такой, как описал Натан: кривая, тихая, шла под уклон. Дома низкие, из сырцового кирпича, крыши плоские. У каждого порога сидела кошка, ни одна ни разу не посмотрела в мою сторону — в Антиохии, видно, кошки слишком гордые для пришлых. Пахло горячим хлебом, подгоревшим маслом и речным илом. Я нашёл дом с нарисованным на притолоке колесом-розеткой — так Натан описал пекарню — и постучал.

Открыла женщина лет сорока, крепкая, в белом платке, с мукой на щеке и на левой брови.

— Я от Натана, — сказал я. — Из Птолемаиды. Меня зовут Барух.

— А, — сказала она. — Заходи. Я Ноэми. Муж на заднем дворе, у печи.

В пекарне было жарко, как в кузнице, но без запаха железа: пахло дрожжами и прогоревшим деревом. Тесто поднималось в плоских корзинах, выстланных льном. У дальней стены стояла глиняная печь, круглая, с отверстием, заткнутым мокрой тряпкой. У печи сидел мужчина в кожаном фартуке — высокий, сухой, с длинным носом и с седеющими висками. Когда он обтёр ладони о фартук, мука сошла белыми хлопьями, и на предплечьях, из-под слоя муки, показали белёсые пятна старых ожогов. Это был Бар-Шимон.

Он принял меня хорошо. Накормил тёплой лепёшкой с творогом, налил пива, выслушал. Спросил, откуда я и куда. Я сказал: из Галилеи, в Рим.

— Зачем в Рим?

— Работа. Мне один старик на стройке посоветовал. Сказал, в Галилее мастеровому плохо.

— В Рим — сильно далеко. До Таврского перевала ещё месяц. Через Тавр — две недели, если не заносы. От Таврских проходов до Тарсоса неделя. В Тарсосе садись на судно до Путеол. Сейчас зима, плавания не будет до марта. Придётся зимовать.

— У меня время есть.

— Ты куда торопишься-то?

— Я не тороплюсь. Я просто иду.

Он посмотрел на меня. У пекарей особые глаза — от долгих лет у печи: спокойные, привыкшие, знающие, что всё, что попадает в огонь, рано или поздно выйдет оттуда либо хлебом, либо золой. Бар-Шимон кивнул.

— Оставайся у меня зимовать. До весны. Я найду тебе работу. У меня стена печи трескается, сырец выело изнутри — можешь починить. И ещё соседи сверху просили поправить дымоход. Перебьёшься, и я перебуюсь.

Я остался.

Зима у Бар-Шимона вспоминается мне тёплым пятном в прохладной полосе тех лет: маленький двор с колодцем, у колодца инжирное дерево; Ноэми за столом чистит лук; трое детей — девочка лет десяти, Лейла, и два мальчика младше — играют в камешки под инжиром; сам Бар-Шимон у печи, белый по пояс. Я чинил печную стену — дело тонкое: сырец нельзя класть на известь и нельзя разбирать печь на ходу. Я возился с ней поздно вечером и рано утром, по два часа, когда печь остывала и когда в неё ещё не загружали новую закладку. Остальное время подмастерничал в пекарне: ставил тесто, месил, таскал мешки муки из амбара, мыл подовые лопаты.

Месил я в первую неделю плохо. Бар-Шимон смеялся:

— Ты как каменщик месишь. Камень нельзя дожать, тесто — можно и нужно. Дави сильнее. Вот так.

Его руки входили в тесто по локоть, и тесто становилось гладким, живым, тёплым. Мои руки — жёсткие, с мозолями от долота — поначалу тесто не слушалось: ладонь не чувствовала разницы между давлением, которое нужно для глины, и давлением, которое нужно для хлеба. К третьему дню я пришёл к чему-то среднему. Бар-Шимон одобрил:

— Теперь ты месишь, как каменщик, который боится, что тесто упадёт. Это лучше каменщика, который думает, что оно стена. Но хуже пекаря.

— Пекарем я за зиму не стану.

— Не станешь. Хлеб не прощает чужих рук. Камень прощает, хлеб — нет.

Лейла, дочка, наблюдала за мной из-под инжира. Она играла в камешки и смеялась мне молча, когда я переставал смотреть в её сторону, а когда я на неё смотрел — быстро делала серьёзное лицо и отворачивалась к игре. Один раз она подошла ближе и сказала:

— Ты смешно месишь.

— Знаю.

— Научишься?

— Может быть. До весны.

— До весны не успеешь. Отец дольше учился.

— У отца лучше получалось сразу?

— Нет. У него сначала так же было. Потом получилось.

— Ну вот и у меня потом получится.

Она ушла с камешками. Потом возвращалась каждое утро, сидеть под инжиром. Я знал, что она смотрит. Месил получше, когда знал.

*

По вечерам в пекарне у Бар-Шимона бывали гости. Один-два, не больше; Бар-Шимон любил разговор, но тесный, не шумный. Приходил сосед-меняла, старый иудей по имени Давид, державший лавку через улицу; приходил старик-киник с ближнего рынка, который сам называл себя Псом и говорил, что собака честнее большинства людей — с тех пор его все так и звали; однажды пришёл раб-философ из дома напротив — грек из Эфеса по имени Эвфорб, высокий, худой, в плохой тунике, проданный за долги хозяину-купцу, которому он вёл счёт и вёл же сына к грамоте. Сидели у очага, пили пиво, разбавленное горячей водой, грелись.

В тот вечер я сидел в углу и месил тесто на утро — Бар-Шимон мне поручил заквашивать ночью. Гости меня видели, но на меня не смотрели; работающего человека в углу гости пекарей в Антиохии привыкли не замечать.

Давид-меняла говорил первым.

— Мало кладут в монету. Дошло до того, что в серебряном денарии серебра на треть меньше, чем было при Августе. А цена та же. И за это благодари богов.

— Каких? — спросил Пёс, отхлебнув.

— Любых. Без богов нет торговли. Кто клясться будет? Без клятвы кому ты денег дашь в рост?

— Мне, — сказал Пёс. — И я тебе верну, потому что, если не верну, ты меня из двора вышибешь. А боги меня из двора не вышибут. Они далеко.

— Боги близко, Пёс. Ты их не видишь — это не значит, что их нет. Ты меня не видишь, когда я за прилавком, а я там.

— Я тебя вижу, когда ты за прилавком, Давид.

— Значит, и богов увидишь, когда научишься смотреть.

Эвфорб, грек, слушал не перебивая. Потом поставил кружку.

— Оба не правы. Боги есть, но боги не торгуют и не прячутся. Боги устроили мир и ушли. Как хороший архитектор: сдал дом, получил плату, пошёл к следующему заказчику. А мы живём в том доме, который он построил, — и нам кажется, что он всё время за нашей спиной. Его нет. Он закончил.

— Тогда кому молиться? — сказал Давид.

— Не молиться. Жить по чертежу. Чертёж он оставил в устройстве вещей.

— А если устройство плохое?

— Не плохое. Плотное. А что тебе кажется плохим, — Эвфорб пожал плечами, — то неудобство, не изъян.

Пёс рассмеялся — коротким лающим смехом.

— Устроили мир и ушли. Удобная философия для того, кто держит раба. Ты, Эвфорб, хороший раб. Твой архитектор тебя в рабство продал и ушёл; а ты его ещё защищаешь.

Эвфорб не ответил; только кивнул, словно эту мысль он сам себе повторял не раз. Бар-Шимон всё это время молчал — обычно так и было, он слушал. Потом выпрямился у очага и сказал одно:

— Хлеб печётся одинаково у всех. У иудея, у грека, у сирийца, у перса. Значит, кто-то его придумал. Кто придумал — тот и знает, зачем. Мне этого достаточно.

Давид одобрительно кивнул. Пёс фыркнул. Эвфорб помолчал и сказал: «Ты тоже прав по-своему, Бар-Шимон. Но по-своему — не по общему.» И выпил.

Они посидели ещё, допили, разошлись. Я остался в углу со своим тестом; оно у меня уже подходило, я его обмял и поставил на ночь, накрыв полотном.

Лейла, которая должна была спать, выглянула из-за двери — знала, что гости ушли. Подошла к отцу, забралась к нему на колени. Отец гладил её по голове мукой сверху.

— Папа, — сказала она, — а у тебя есть бог?

Бар-Шимон подумал. Не сразу, по-настоящему, как думают пекари над закладкой.

— Есть, доча.

— Какой?

— Печь.

Она подумала. Кивнула серьёзно. Слезла с его колен, пошла спать.

Я в тот вечер долго не засыпал. Трое гостей, трое вер; и Бар-Шимон со своей печью. У каждого своя. Я в тесто не лез, месил.

Я лежал и думал: а у меня что? У меня камень. Камень лежит, как положили. Богом я этот камень не называл, а в голове он у меня был — точно так, как у Бар-Шимона печь.

*

В марте, когда ветер с моря стал тёплым и на окрестных холмах зацвело что-то жёлтое, Бар-Шимон дал мне плату — двадцать пять динариев серебром за четыре месяца, — кусок сыра, бурдюк с разведённым вином в дорогу и старую, но целую тунику, которую Ноэми зашила на плечах, где моя протёрлась. Лейла стояла под инжиром, с камешками в подоле.

— Я к вам вернусь, — сказал я ей.

— Нет, — сказала она. — Ты не вернёшься.

— Вернусь, если получится.

— Не вернёшься. Никто из тех, кто уходит на Тавр, не возвращается через эту улицу. Я уже видела.

Я не знал, что ей на это ответить. Я попрощался с Бар-Шимоном и Ноэми, поклонился, подобрал сумку и пошёл вверх, к главной улице, к северным воротам города. До перевала оставался месяц ходу.

*

Через Таврский перевал я шёл с попутчиком.

Его звали Хузан. Он был армянин из горного селения к северу от Мелитены, молодой — лет двадцать, — сухой, черноволосый, с тонкими ключицами и резкими скулами. На плече нёс кожаный мешок, и в мешке у него было всё: две туники, нож, кремь с огнивом, мешочек с солью и письмо. Письмо — к его дяде в Мазаке, и в письме отец Хузана поручал дяде найти Хузану жену с приданым. Хузан рассказывал о письме часто, с удовольствием, и я, пока мы шли, успел запомнить все его соображения о том, какую жену он хочет: не слишком молодую, не слишком старую, не слишком красивую, не слишком некрасивую. Жизнь у Хузана была расписана в голове, как у нас размечают стену на ряды: дом — скот — жена — сын — старость. Он был молод, оттого и точен до края.

Я встретил его в селении Куласира, где крестьяне выпаивали путников на треть дешевле, чем в трактирах у дороги. Хузан сидел у очага, один, и ел ячменную кашу. Хозяин — лохматый киликийец — предложил мне сесть рядом, я сел. За соседним столом ел караванщик с тремя погонщиками — персы, в круглых шапках, пахнущие верблюдом и пылью; их говор был короткий, резкий, без плавных переходов — как удар кирки о камень. Караван шёл из Эдессы на Антиохию с шёлком, и старший, заметив мой интерес, подмигнул и сказал по-гречески: «Не ходи с нами — нас трогают чаще, чем вас; у нас шёлк, у вас ничего. Идите вдвоём, наглецов не поймут.» И действительно, Хузан, узнав, что я иду через перевал, обрадовался: вдвоём по горам безопаснее — на перевале орудуют разбойники.

— Какие разбойники?

— Местные, киликийцы. Берут что есть. Если нечего взять — отпускают. Если что-то есть — забирают и отпускают. Если сопротивляешься — могут убить. Но если молчишь и отдаёшь — почти не убивают. Мы с отцом в прошлом году ходили с тканью. Они нас трогали три раза. Два раза отдавали, один раз отец сказал, что ткань для правителя Мзаки. Нам поверили и отпустили.

— А у тебя что есть?

— Мешочек соли — сорок динариев. И нож. Нож дедов. Его не отдам.

— Нож — плохо. Если не отдашь, убьют.

Хузан пожал плечами:

— Не убьют.

*

На перевале, на второй день, мы заночевали в пастушьей хижине — без крыши над передней частью, с чёрным очагом посередине, с кучей старого сена в углу. Вошли — там уже сидел человек. Старик, худой, в тёмной накидке, с длинной седой бородой, в кожаных сандалиях, подвязанных ремешком через подъём. У очага грелся один, котелка у него не было, ужина тоже. Когда мы вошли, он поднял голову и сказал по-арамейски:

— Шалом.

Я давно не слышал этого слова от чужого. Хузан по-арамейски не понимал; я ответил:

— Шалом. Откуда ты?

— Из Вавилонии. Иду в Иерусалим.

— Далеко.

— Далеко.

Мы сели у очага, достали свои припасы. Хлеб, сыр, немного сушёного мяса. Я протянул старику кусок. Он не отказался, взял с поклоном, отщипнул маленько, остальное положил рядом — на потом. Хузан ел молча, поглядывая на него; к иудею-старика Хузан относился с уважением, как у них в горах принято относиться к любому, чей бог старше твоего.

— Как тебя звать? — спросил я.

— Ханох бар-Йехуда. А тебя?

— Барух бар-Натан.

Он кивнул.

— Ты иудей.

— Иудей.

— Откуда?

— Галилея. Магдала.

— Давно из дому?

— Два года почти.

Ханох посмотрел на меня, прищурился.

— Барух. У меня один вопрос к тебе — ты единственный за две недели встречный, которого я могу спросить. Скажи мне — стоит ли ещё Храм?

Я удивился. Как не стоит — конечно стоит.

— Стоит.

— А жертвуют?

— Жертвуют. Два года назад я был в Иерусалиме на Пасху. Народу было — яблоку упасть негде. Резали овец на верхнем дворе, кровь стекала по желобу до самой долины Кидрон.

Ханох закрыл глаза. Постоял так с закрытыми, как человек, выслушавший хорошую весть и не желающий сразу её выпустить. Потом открыл.

— Значит, я дойду.

— Дойдёшь. Если сил хватит.

— Сил хватит. На последнее — всегда хватает.

Он помолчал. Съел кусок моего хлеба — медленно, кусочек за кусочком, как едят те, кому больше некуда торопиться. Хузан спросил у меня по-гречески шёпотом: «А зачем ему Иерусалим?» Я ответил по-арамейски, чтобы старик слышал: «Он идёт умирать в Иерусалим.»

Старик кивнул.

— Верно, — сказал он по-арамейски. — Вавилон хорош для жизни. Для смерти — тесен. Там меня похоронят в чужой земле под чужими буквами. А в Иерусалиме — в своей, под своими. Я жил с мыслью, что не дойду. Теперь думаю — может, дойду. Твоих новостей хватит мне на неделю хода.

Он развернулся к очагу, протянул к огню ладони. Ладони были прозрачные — видны жилы.

— А ты, Барух, — сказал он, не оборачиваясь. — Ты куда идёшь?

— В Рим.

— В Рим. — Ханох помолчал. — Рим — большой, красивый, прочный. Но в Риме не спрашивают про Храм. В Риме забывают.

— Что забывают?

— Всё. Но начинают с Храма. Ты помнишь, что в нём стоишь, — это ты в Галилее. Перейдёшь море — начнёшь забывать. Сперва детали, потом запах, потом имя отца. Потом себя. Это не обвинение, это свойство расстояния. Я тридцать лет в Вавилоне; я забыл, как моего отца звали его товарищи. Помню только, как звал я.

— А зачем тогда идти обратно?

— Чтобы умереть, помня хотя бы имя отца, а не комнату, в которой его помнил. Комната не держит. Имя — держит.

Я кивнул, хотя не вполне понял. Хузан понимал ещё меньше; ему было двадцать, он ехал к жене, ему рано было слушать про имя отца. Мы легли спать у огня, Ханох напротив нас. Утром, когда проснулись, Ханох уже ушёл. На том месте, где он спал, остался кусочек моего хлеба — тот, что я дал ему на ужин. Не доел. Либо не смог, либо оставил мне как спасибо. Я положил кусок обратно в сумку, и мы вышли на тропу.

*

Они вышли к нам на сотом шаге после привала — следующий день, другой час, другая страница. Между Ханохом и разбойниками — один ночлег. Я этого пока не знал.

Их было трое. В серых шерстяных плащах, сливавшихся со скалой, все с короткими бородами, у каждого на поясе нож. У одного — старшего — на плече висел лук, в руке железная пика. Они вышли из-за поворота молча и стали перед нами поперёк тропы.

Я остановился. Хузан почти врезался мне в спину.

— Добрый день, — сказал я по-гречески.

Старший не ответил. Смотрел на нас так же, как перекупщик смотрит на тюк ткани: сначала на вес, потом на вид, потом на швы. Хузан за моей спиной напрягся — я это почувствовал по дыханию.

Старший сказал что-то на местном наречии. Я разобрал два слова: «мешок» и «деньги».

— У меня ничего нет, — сказал я по-гречески. — Мы простые люди. У меня — инструмент каменщика.

Он показал мне пикой на сумку. Я скинул её с плеча, поставил на землю, отступил. Он подошёл, раскрыл, достал молоток, посмотрел, положил обратно. Достал долото — посмотрел, положил. Нащупал кожаный свёрток, вытащил, развернул, высыпал серебро на ладонь. Кивнул. Сунул за пояс.

Потом повернулся к Хузану.

— Мешок.

Хузан молчал. Я оглянулся. Он стоял, опустив руку к поясу. Лицо белое — не от страха, а от упрямства. Решил про себя: не отдаст.

— Хузан, — сказал я. — Отдавай. Это не ткань для правителя.

— У меня соль. Соль на жену.

— Мало ли что на жену. Жив будешь — будет и жена.

Старший, не понимая наших слов, протянул руку к Хузану. Хузан отстранился. Второй из троих — коренастый, с густой бородой — шагнул вперёд.

— Отдавай, — сказал я громче.

Хузан выхватил нож.

Всё, что было потом, длилось две или три секунды. Хузан прыгнул вперёд, целясь в коренастого. Тот отбил его руку локтем и ударил снизу вверх в живот. Хузан ахнул и сложился пополам. Старший выругался, сорвал с плеча мешок. Третий — стоявший позади — вытащил свой нож и вошёл Хузану под рёбра со спины.

Я стоял в трёх шагах и ничего не сделал.

Ничего не сделал. Испугался. Нас было двое, и одному уже пришёл конец, а второй — я — ничего не мог им противопоставить, кроме молотка в сумке, до которого надо ещё дотянуться. Ноги у меня одеревенели, рот пересох, руки не поднялись. Это был простой страх, такой, какой бывает у всех, и я не собирался за него потом просить у себя прощения; но и хвалиться им не собирался тоже.

Трое забрали мешок. Старший постоял над Хузаном, который ещё шевелился, прижимая руки к животу, и вложил ему нож в горло коротким движением. Хузан замолчал.

Трое повернулись и пошли. Они не спешили. За поворотом скалы исчезли.

Я опустил на колени. Хузан был мёртв — я это видел по глазам, которые смотрели в небо, не мигая, и по руке, выпавшей в красный мох.

*

Я похоронил его как мог. Копать каменистый грунт было нечем. Я сделал то, что делают в горах: обложил камнями. В полусотне шагов от тропы была ниша между двух скал, закрытая от ветра с севера. Я перенёс туда Хузана на руках. Он был лёгкий. Уложил на спину, сложил ему руки на груди. Нож, вынутый из горла, я хотел положить на грудь, но передумал: он не любил, когда нож лежит без дела. Я положил нож под правую ладонь.

Потом носил камни. Первый ряд — крупные, чтобы тело не тронула лисица; второй — мельче; третий — совсем мелкие, носил в полоте туники. Работа длилась часа три. К концу у меня ныли пальцы, и плечи, и поясница.

Когда ряды легли, я встал у курганчика. Имени Хузанова отца, и дяди в Мазаке, и селения его я не знал. Я сказал вслух — не молитву, а просто то, что пришло:

— Ты хотел жену и сына. Не увидел. Если там, куда ты пошёл, есть место подумать о них — подумай. Я пойду дальше.

И постоял молча. Где-то далеко, ниже по склону, в деревне, не видной отсюда, женщина пела ребёнку — без слов, одну мелодию, простую, ту же, что мне слышалась за стеной в Иерусалиме в первую ночь у моего козла. Звук шёл наверх по ущелью; я не сразу понял, что слышу его, и не сразу понял, что узнаю.

И подумал про старика Ханю — он сейчас спускается к Антиохии, потом будет плавание в Кесарию, потом пешком в Иерусалим, и дойдёт, если сил хватит. А Хузан, у которого сил было втрое больше, не дошёл до жены — ни здесь, ни там, и даже имя отца своего донести не успел. Каменщицкий отвес — кривое дело: одним подкладываем камень, другим вынимаем. Почему — не моего ума; я в камни понимаю, в судьбу нет.

Потом я забрал его огниво, кремь и мешочек соли, оставшийся за пазухой — разбойники его не нашли. Соль поделил пополам: половину оставил на камнях, половину взял себе. Огниво и кремь — целиком. Ещё взял письмо — прочесть его я не мог, но, может быть, встречу кого-нибудь из его земляков.

Я вышел на тропу и пошёл вверх.

На перевале — лысом, обдуваемом — стоял столб с греческой надписью: «Отсюда ты идёшь в Каппадокию, путник». Я приложил ладонь к камню. Камень был холодный.

Я пошёл вниз, на северный склон. На спуске встретил пастуха — старого, обветренного, с козым посохом и с двумя овцами, которые шли за ним, как за подрядчиком. Пастух посмотрел на меня, на мои грязные руки, на сумку, на лицо — и сказал коротко:

— Разбойники?

— Разбойники.

— Один?

— Один.

Он кивнул, снял с пояса фляжку и протянул. Я выпил глоток — крепкое виноградное, жгло в груди, но согревало. Вернул фляжку. Пастух кивнул и пошёл дальше, овцы за ним. Он не спросил, кем был тот, другой. На перевале не спрашивают: ответ один и тот же.

*

До Мазаки я дошёл за восемь дней. Город стоял на высоком плоскогорье, сложенный из тёмного туфа. Я спросил у людей на рынке, не знает ли кто Хузанова дядю, и с четвёртой попытки нашёл его — старика, высокого и тощего, с седой бородой до пояса. Я передал письмо. Он прочитал, поднял на меня глаза — влажные, но без слёз.

— А Хузан?

— В Тавре. Разбойники.

Он закрыл глаза, постоял. Кивнул:

— Я пошлю за телом.

— Ты его не найдёшь. Я сложил камни. Примета — у столба с греческой надписью, в пятидесяти шагах от тропы, в нише между двух скал. Вход с юга.

— Ты сложил?

— Я. Я шёл с ним.

Старик долго смотрел на меня, потом пожал мне плечо. Рука у него была сухая, жилистая.

— Что тебе?

— Ничего. Я пришёл сказать.

— Переночуй у меня.

Я переночевал. Мы с ним и его женой ели варёную чечевицу, молчали. На стене у очага висел кусок расшитой ткани — голубое по белому, мелкими стежками, узор непонятный. Жена заметила, что я смотрю, и сказала коротко: «Невесте Хузана вышивала. Год работы.» И отвернулась к очагу. Больше о невесте не говорили.

Утром старик вышел проводить меня до ворот. Пока мы шли двором, из дома за ним вышел мальчик лет тринадцати — худой, быстрый, похожий на Хузана глазами. Старик не обернулся; мальчик шёл за нами молча. У ворот старик дал мне пять динариев «на дорогу до Тарсосу» и пожал плечо ещё раз. Потом развернулся и ушёл в дом. Мальчик остался у ворот.

Я собирался идти, но он не двигался. Смотрел в землю, потом поднял на меня глаза.

— Ты его похоронил, — сказал он. Не спрашивал.

— Я.

— Отец говорит — Хузан встретится с матерью. Мать умерла, когда мне было два. И с дедом встретится. Дед умер в прошлом году. А ты веришь, что они встретятся?

Я молчал. Я не знал, что ответить мальчику, который только что потерял двоюродного брата и просит у меня — у прохожего чужого — ответ на самый взрослый вопрос своей жизни. Я подумал. Ответа у меня не было.

— Не знаю, — сказал я. — Я в камни понимаю.

— А в камнях что?

— В камнях — долго. Человек умрёт, камень его переживёт. Память — может, в камнях и остаётся, я не знаю. Имя на плите — остаётся, это я видел. Больше ничего сказать не могу.

Мальчик кивнул. Подумал. Сказал, негромко:

— Камни долго лежат. Может, в них и память. Это мне больше нравится, чем «встретятся».

— Почему?

— Камни — видно. А встречу — нет.

Он кивнул мне ещё раз и ушёл в дом. Я пошёл. Его фразу — «камни видно, а встречу нет» — я унёс с собой до самого Тарсоса; она лежала у меня в голове, как тёплый камешек за пазухой.

* * *

Глава 4. Дорога. Через море

В Тарсосе я нанялся на торговое судно — штопать палубные доски, менять паз, где течь. Хозяин — сицилиец с тусклым взглядом — посмотрел на меня, пощупал инструмент в сумке, кивнул. Мы вышли в море в начале третьей недели моего пребывания в Тарсосе.

Плавание заняло одиннадцать дней. О них у меня остались обрывки: море на третий день качало так, что я не мог стоять у паза, и один из матросов держал меня сзади за пояс, пока я работал; еда была скудная — сухари с чесноком, солёная рыба, фляга с кислым вином на четверых. Матрос, державший меня за пояс, был нумидиец по имени Зиба, чёрный, с белыми крепкими зубами; он всё плавание насвистывал одну и ту же мелодию, трёхнотную, простую, и я, сам того не заметив, стал её узнавать.

На четвёртый день, когда шторм улёгся, я сидел на палубе у мачты, рассматривал пеньковый канат — хорошая работа, сучение плотное, узлы без слабины. Рядом сел другой матрос. Старший помощник — киликиец лет сорока, с тёмным загаром, с сединой в висках, с рубцом на левой щеке. На правом предплечье у него была вытатуирована синяя фигура — бык, с опущенными рогами, с каплей крови у морды. Я посмотрел на татуировку; он заметил.

— Нравится? — спросил он по-гречески.

— Это бык.

— Это Митра, убивающий быка. Это наша вера.

— Расскажи.

Он пожал плечами, но заговорил — моряки на длинных плаваниях любят рассказывать; слушатель редкость, и любой слушатель — подарок.

— В начале был только Митра и бык. Бык — это мир. Митра его убил. Из крови быка вышли растения; из семени — животные; из костей — горы; из шкуры — небо. Мы живём внутри мёртвого быка. Митра убил его не из злости — он должен был; мир иначе не начинался.

— А зачем было убивать?

— Чтобы было из чего сложить. Пустота не складывается. Нужна кровь.

Я подумал. Потрогал канат — сучение ровное, волокна параллельные. Спросил:

— А в камне чья кровь?

Он посмотрел на меня с интересом, как смотрят моряки на неморяка, который задал вопрос не по моряцкой части, но правильный.

— Ни в чьей, — сказал он. — Камень — это то, что осталось, когда кровь высохла. Митра убил быка; земля кровь впитала; вода унесла всё лишнее; остался камень. Камень — последнее. Поэтому каменщиков Митра любит — они работают с тем, что уже ничего не просит.

Я кивнул. Этот ответ мне понравился больше других — он был каменщицкий.

Матрос повернулся, пошёл к корме, поднимая на ходу сети. Я смотрел на волны. Если смотреть долго, видно, как в каждой волне идёт маленькая кладка: гребень, склон, пена у подошвы.

*

В Путеолы мы пришли в пасмурный полдень. С палубы я увидел длинный мол и толпу на нём — встречающих, подрядчиков, менял, перевозчиков. В толпе смешались италийцы, сирийцы, греки, иудеи, нумидийцы; Путеолы — ворота в Рим, через них проходил весь Восток. На моле, у самого причала, стоял человек с табличкой в руках, на табличке — чьё-то имя по-гречески; он ждал кого-то, кто не вышел с нашего судна, и продолжал стоять с табличкой. Я отработал паз до последней доски, получил шесть динариев платы и кивок от сицилийца, и пошёл по молу в город.

В Путеолах задержался на два дня — купить новую тунику и сандалии взамен тех, что носил с Антиохии. Потом вышел на Аппиеву дорогу и направился в Рим.

*

До Рима по Аппиевой было пять дней неспешной ходьбы. Я не спешил. В теле у меня накопилась усталость двух лет, и ноги болели к вечеру, и плечи болели к утру, и глаза мои устали разглядывать встречных. Дорога несла меня сама.

Дорога — мощёная, широкая, с каменными верстовыми столбами, — шла ровно, как стена, которую клали римские инженеры по чертежу; камни подогнаны, швы в ладонь, водостоки по краям. Я шёл по этой кладке и одобрял: чужая работа, но хорошая. Навстречу и попутно двигались повозки — хозяева с рабами, торговцы с товаром, курьеры имперской почты с сумками, опечатанными свинцом, один раз — отряд преторианцев в сверкающих шлемах, от которого все сходили на обочину; преторианцы проехали, не заметив нас, и пыль за ними ещё долго стояла стеной.

*

В одну из ночей я ночевал у костра с группой, пристроившейся у обочины, — четверо-пятеро случайных попутчиков, какие собираются вечером вокруг огня, чтобы поесть вместе и не быть сверху ограбленными. Среди них был хозяин-купец с товаром в повозке; он спал под одеялом, укрывшись от ночного холода. У огня с его стороны сидел человек — невысокий, поджарый, с аккуратной седой бородой, в приличной шерстяной тунике, подпоясанной верёвкой. Руки у него были белые, с ровными пальцами, как у человека, который никогда не клал камень и никогда не носил ноши. Он держал в руках кусок хлеба и грыз его — медленно, по краю, как делают те, кто хлеб знает.

Я сел напротив, положил в огонь сухую ветку. Человек кивнул мне, я ему.

— Раб? — спросил я. Я давно научился отличать — по рукам, по тунике, по тому, как человек держится у костра.

— Раб.

— Давно?

— Второй год. До этого был свободным. Учил риторику в Эфесе. В моей школе училось восемь юношей из лучших семей; я их выпускал в суд и на форум, и они меня поминали в речах по два раза. Потом пришли долги; я заложил школу, потом дом, потом себя. Теперь принадлежу Квинту, купцу — он спит за повозкой. Едем в Рим продавать шёлк и меня. В Риме за учителей риторики платят лучше. Меня продаст, купит другого.

Он сказал это без жалости, как человек, сообщающий погоду. Я кивнул. Помолчали.

— Как тебя звать?

— Теон. Теон сын Апеллеса.

— Барух. Сын Натана.

Теон оторвал ещё кусочек хлеба.

— Ты иудей.

— Иудей.

— Скажи мне, Барух. Ты во что веришь?

Это был третий раз за дорогу, когда меня об этом спрашивали всерьёз. Я уже знал, что сказать.

— Я в камни понимаю. Это не вера. Это ремесло.

— А помимо ремесла?

— Помимо — не решил. По дороге слышал разное. Один сказал про Диониса, другой про бога, сделавшего мир и ушедшего, третий про печь, четвёртый про быка. Я их всех слушал, считал кладку. Не сошлось.

— Потому что все они говорят о разном, а ты хочешь, чтобы сошлось в одно.

— Не знаю, чего хочу.

Теон кивнул.

— Я тебе скажу, чего хочу я. Только чего. Ни во что не верю с тех пор, как меня заложили за долги; а хочу — одного. Свободы. Остальное — комментарий.

— Свобода у тебя в голове или в теле?

Он посмотрел на меня почти с уважением.

— Хороший вопрос. Таких в Эфесе мои мальчики не задавали. В голове я и сейчас свободен — я же учитель, голова моя работает. В теле — нет. Я в теле Квинта. Свобода, Барух, — только та, в которой работают обе части. Если свободен головой, а тело у Квинта, — это не свобода. Это шутка над словом.

— А в теле свободным как стать?

— Не знаю. Никто не знает. Кто-то говорит — убить хозяина; кто-то — откупиться; кто-то — ждать смерти; кто-то — стать таким рабом, которого не замечают. Я ни одного из этих способов не нашёл рабочим. Один действовал, но плохо; второй не действовал вовсе; третий — долго; четвёртый — стыдно.

Он отхлебнул из фляжки.

— А ты иди своим путём. Ты мастер; мастера в Риме свободнее, чем у нас. Там платят руками, не именем. Имя потом нарастает. Но имени без рук не бывает.

— А рук без имени?

— Бывает. И это тоже свобода. Для тех, кто любит своё дело больше имени.

Я долго молчал, грея ладони у огня. Теон допил, завернулся в плащ, лёг спать. На рассвете, когда я проснулся, Квинт уже запрягал мула; Теон собирал в повозку вещи. Увидел меня, кивнул:

— Удачи, каменщик. Если встретимся в Риме — не подавай вида: хозяин не любит, когда я узнаю чужих.

Повозка тронулась. Я сидел у потухшего костра ещё с четверть часа, думая про свободу в двух частях. Потом пошёл.

*

На второй день после этого ко мне поравнялся человек.

Его звали Лукий. Вольноотпущенник со своего хутора под Синуэссой — маленький, широкоплечий, с красным лицом и белой головой; ему было лет шестьдесят, может больше. В Риме у него жил сын, возница в частной конюшне, и Лукий шёл к нему проситься на хлеба: на хуторе случился неурожай, а налог требовали тот же, что в хорошие годы. Шёл налегке, с холщовым мешком: кусок копчёного мяса, круг сыра и маленький бурдюк разведённого вина.

Мы разговаривали. Он был простой, но не глупый. Рассказывал мне, как в его деревне выращивают лук. Как в тучный год лук крупный, в ладонь, а в худой — мелкий, как грецкий орех. Как одна соседка лечит гусей от кашля горячей мукой с солью. Я слушал. Лукий мне нравился — он был из тех людей, которые не спрашивают, во что ты веришь, и тебе от этого становится легче на несколько часов.

На четвёртый день, к вечеру, мы вошли в полосу мелкого упрямого дождя, который идёт в Кампании в начале осени и может не прекращаться сутками. К ночи стало мокро и холодно. У обочины стояла старая постоялая хижина — полуразрушенная, с провалившейся крышей, но с одной стеной, за которой ветер не доставал. Мы сели за ней. Сухого дерева для костра не было. Мы сидели рядом, прижавшись к стене, укрывая головы его плащом. Лукий к тому часу уже кашлял — лёгкий, дробный кашель, такой, какой не замечаешь у себя, но слышишь у другого.

Ночью ему стало плохо. Он начал дрожать, не просыпаясь, и дыхание пошло неровно, с присвистом. Я положил его на колени, накрыл обоими плащами, прижал к боку, чтобы теплее. Лоб у него горел, руки были холодные. Я сидел и не спал всю ночь.

Утром дождь не перестал. Лукий смотрел на меня, не поднимая головы.

— Ты иди, Барух. Я останусь. Отдохну день, меня подберёт повозка. Здесь ходят повозки.

— Я останусь с тобой.

— Не надо. У тебя дорога.

— Дорога долгая. Ещё день — ничего.

Он не спорил. Закрыв глаза и задремал.

Я сидел с ним под стеной три дня. Дождь перестал на второй, но Лукий не поднимался. Он дышал всё реже, и в промежутках казалось, что он уже умер, а потом снова вдруг вдыхал, коротко, по-детски. Мы делили последний сыр, потом вино, потом я ходил в деревню, купил хлеба, принёс, мочил его в воде, прикладывал к губам. Он уже не глотал.

Вечером третьего дня он умер. Без рывка, без последнего вдоха — просто перестал дышать. Я заметил не сразу: я сидел, опустив голову, и тишина у моего бока стала шире обычной. Я поднял голову. Лицо у Лукия было спокойное.

Я закрыл ему глаза, сложил руки на груди, пошёл в деревню. Нашёл старосту, попросил повозку и место. Староста — немолодой сабин в жёлтой тунике — покряхтел, согласился: я заплатил ему два асса, он прислал двоих людей с повозкой. Мы довезли Лукия до деревенского погоста, где был общий ров для тех, кого некому хоронить дома, и там его похоронили. Я сказал старосте: если кто-нибудь по имени Маркус, возница, придёт спрашивать отца Лукия — пусть скажет, что похоронен здесь, у большого тополя над рвом, и что тот, с кем он шёл, сделал, что мог.

У меня, когда я уходил из деревни, оставалось четыре медных асса.

*

До Рима от деревни оставалось два дня. Я шёл голодный, и это был не первый день без еды — за деньги, что я выложил за повозку и похороны Лукия, я мог бы купить себе хлеба на четыре дня. Но я выложил. Голод был обычный: сосало под ложечкой, слабели колени к полудню, к вечеру кружилась голова, я садился у обочины, сидел, восстанавливался. В Галилее я голодал в худшие зимы подольше этого, не умер; и сейчас, думал я, не умру.

В следующей деревне купил хлеба. Ел, не глядя. Шёл дальше.

Аппиева дорога поднялась на холм у Альбанских высот, и с холма я увидел Рим впервые.

Он лежал внизу, в рыжеватой дымке — не город, а океан крыш, черепичных, плоских, красных, серых, уходящих к горизонту. Над крышами торчали верхушки пиний, кипарисы, столбы дыма над печными трубами; кое-где возвышались храмовые фронтоны, колонны, арки акведуков. Я спустился к городу, прошёл через Капенские ворота. Навстречу шла вечерняя толпа: служащие с кожаными сумками, женщины с корзинами белья, мальчишки-водоносы, солдаты-германцы. Запах был густой — навоз, жареное мясо, речной ил, дым, горячий камень стен.

У первого крупного акведука — он пересекал мою дорогу сверху, в два яруса арок — я остановился и начал считать пролёты. Так я делал везде, где попадался хороший акведук: привычка с Кесарии. Считать пролёты — успокаивало.

На шестнадцатом ко мне подошёл человек.

Глава 5. Дом

Он был невысокий, крепкий, с короткой седеющей бородой. Одет в тёмную шерстяную тунику, поверх — серый плащ без каймы. Сандалии самые обычные, но починенные хорошо: ремешки подтянуты там, где они сдают первыми. Я это заметил — у каменщика на сандалии особый глаз, как у столяра на чужой стол.

— Ты считаешь пролёты, — сказал он.

Не спросил — сказал как о заранее известном.

— Считаю.

— Сколько насчитал?

— Шестнадцать.

— Пройди ещё дюжину. Там начинается участок, который ставили при Клавдии. Каменщики были хорошие, но заказчик торопил, и у них в арочных замках раствор с песком сверх меры. Один замок треснул зимой лет двадцать назад, его меняли. Увидишь — другой цвет камня.

Я молчал, глядя на него. Он стоял у столба, положив ладонь на камень. Рука лежала привычно, так, как кладут ладонь на стену те, кто проверяет кладку кожей.

— Ты сам кладёшь? — спросил я.

— Нет. Я давно не кладу. Я хожу и смотрю.

— Почему?

Он помедлил. Рука его соскользнула со столба и повисла вдоль плаща.

— Стен много, а тех, кто умеет их читать, мало.

Он говорил по-гречески, но с сирийским призвуком, как в Антиохии. Я не стал спрашивать, откуда он: не моя привычка — лезть в чужое.

— Меня зовут Шимон, — сказал он. — А тебя?

— Барух.

— Ты откуда пришёл, Барух?

— Из-под Магдалы.

— Пешком?

— Пешком. С месяц назад от Антиохии сюда, морем из Тарсосу до Путеол, дальше Аппиевой.

— Долго шёл.

— Долго.

— Голодный?

Я посмотрел на него. В Кесарии на такой вопрос, если его задавал чужой, я отвечал: «Нет»: милостыню брать стыдно. А тут я подумал, что стыдно уже всё равно; у меня оставалось три асса, туника с дырой на плече, которую мне ещё Ноэми в Антиохии зашивала, и я пятый день ел только хлеб.

— Голодный.

— Идём. Это близко. Я тебя накормлю. А заодно у меня в доме есть полка, которую надо поправить, — поправишь, значит, будешь не задаром.

Я пошёл.

*

Мы шли проулками, где дома стояли так тесно, что с одного балкона на другой можно было перекинуть верёвку для сушки белья; кто-то и перекидывал — я видел над головой развешанные туники, обмотки, простыни. Пахло варёным луком, дымом, кошачьей мочой, размокшим папирусом. Где-то внизу дворика играла на свирели девочка, плохо, ошибаясь через раз; кто-то крикнул ей из окна:

— Флавия! Хватит мучить!

Флавия не хватала. Дальше по улице пронесли мальчишки за котом, все босые, все чёрные от сажи. Каменотёс-сириец в фартуке, склоняясь над плитой у своей мастерской, стучал молотком по зубилу, и железо отвечало ему сухим шелчком, за которым, я знал, оставался в камне след нужной глубины. На соседней плите были выбиты греческие буквы — ровно, без задигов, с засечками в меру. Хорошая работа, мастер знал дело.

Мы поднимались; дома стали реже, улица расширилась. По сторонам показались сады, инсулы в четыре яруса и отдельные домусы побогаче. Шимон свернул налево, в тупиковый переулок, и в конце — у ограды из крупного серого туфа, сложенной без раствора, — остановился у железных ворот. Ворота были крашены тёмно-красным, и краска во многих местах облупилась, показывая чёрный железный подбой. Ограду я осмотрел, пока Шимон доставал ключ: кладка без раствора, насухую, камни подобраны по размеру и уложены так, что вода уходит сама по швам, а ветер держит. Старая работа, не римская; так клали раньше, когда извести не хватало и мастер полагался на глаз. Я одобрил — молча, себе; чужую стену вслух хвалить не принято.

— Целий, — сказал Шимон, не оборачиваясь. — Это холм.

Он достал из-за пояса ключ на кожаной петле. Ключ вошёл в скважину без скрипа, ворота отворились.

*

Двор был маленький, шагов пятнадцать в длину. Мощён тем же туфом, что и ограда. В середине — неглубокий импловий, куда собиралась с крыши вода. По краям стояли большие глиняные горшки с посадками: пахла мята, пахла рута, пах шалфей.

У дальней стены, спиной ко входу, на низкой скамейке сидел человек и возился с землёй в одном из горшков. Перед ним стоял другой горшок, пустой, а третий — с рассадой. Он услышал, как мы вошли, и обернулся через плечо, не поднимаясь. Лицо старое, но не дряблое: резкие скулы, коротко стриженная седая борода, светлые глаза без улыбки. Руки по локоть в земле. Рядом со скамейкой, на уложенной наземь тряпице, лежала горсть плоских камней, и на каждом были выбиты буквы — разные, на разных языках. Чужая привычка.

— Это Гершон, — сказал Шимон. — Он не очень говорит. Ты не думай, что это против тебя.

— Я ничего не думаю.

Гершон перевёл взгляд с меня на Шимона и обратно, кивнул коротко, вернулся к горшку.

Шимон провёл меня через двор, мимо Гершона, к внутренней арке, за которой открывался второй, меньший двор с двумя оливковыми деревцами и колодцем посередине. От арки к дому шла низкая дверь. На пороге стояла женщина.

Она была высокая — выше Шимона почти на голову. Шла прямо, не перекладывая плечи. На ней была стола — длинное, до щиколоток, платье светлой шерсти — с узкой пурпурной каймой по нижнему краю. На мизинце правой руки тонкое золотое кольцо с тёмно-красным камнем, повёрнутое внутрь, к ладони. Волосы убраны высоко, простой костяной шпилькой.

— Шимон, — сказала она. — Ты привёл?

— Привёл. Мастер. Каменщик. Из Галилеи, полтора года дорогой.

— Шимон, ты его считаешь как блоки — по дороге и длине.

Шимон не ответил; уголок его рта дёрнулся, и я понял, что это у них не первое такое.

— Как звать?

— Барух, — сказал я.

Она посмотрела на меня. Взгляд был не как у подрядчика в порту, который меряет нового работника. Взгляд был как у хорошего каменщика, читающего шов между двух плит. Посмотрела, коротко кивнула сама себе.

— Я Мирьям. Иди, Барух, я тебя накормлю. А потом поговорим.

*

Внутри было прохладно и чисто. Полы мозаичные — простой чёрно-белый рисунок в виде чередующихся квадратов. В первой комнате у окна стоял стол из светлого ясеня, на столе — плоская глиняная ваза с маслинами и кувшин с водой. Рядом с вазой — деревянная дощечка размером с ладонь, с углублением, залитым воском: восковая табличка, стило приткнуто к краю. В воске было поцарапано несколько строк по-гречески, букв ровно столько, сколько могло лечь в имя и пару слов; что там написано, я не знал, но кто-то писал и оставил. У стены — скамья, застеленная тонким войлочным ковром. В следующей комнате я заметил полки, а на полках — деревянные ларцы: такие ставят, когда хранят свитки и боятся, чтобы их не поело. Ларцов было много, полки уходили под самый потолок.

Мы прошли на кухню. Кухня выходила к саду — запущенному, где между грядками пробивался плющ.

Мирьям усадила меня у стола. Поставила чечевичную похлёбку, серый хлеб в корзинке, солёные оливки в другой плюшке, воду с уксусом в кружке. Сама села напротив, сложила руки, смотрела, как я ем.

Я старался не торопиться. Получалось плохо. Первую ложку я проглотил, не разжёвывая; вторую попытался подержать, но подержал только до третьей, и дальше ел быстро, с жадностью человека, который не ел горячего четыре дня. Мне было стыдно, и я смотрел в миску, чтобы не видеть, как она смотрит.

— Ешь, — сказала Мирьям. — Я потом тебе ещё налью.

Она налила ещё, и я съел. И съел хлеб. И оливки — не все, но много. Когда закончил, поставил миску, вытер руки о колени (скатерти не было), поднял глаза.

— Спасибо.

Она кивнула.

— Откуда ты?

— Из-под Магдалы. Работал в Кесарии.

— Долго шёл?

— Полтора года.

— Зачем в Рим?

— Мне один старик на стройке посоветовал. Старик — мастер хороший, Элиша звали. Перед смертью сказал — иди в Рим. Там стройка не кончается.

— Он умер?

— От простуды. Зимой.

Мирьям ничего на это не сказала. Кивнула. Посмотрела в окно, в сад. В саду заходило солнце, свет падал косо на стол, на руки её, на кольцо с камнем, повёрнутым в ладонь.

— Хочешь пить? Ещё воды?

— Нет, спасибо.

— Шимон сказал, у него в доме полка.

— Он сказал, да.

— Полка в следующей комнате. Это у Лео. Сейчас он придёт, покажет.

И Лео пришёл.

Он был худой, бледный той бледностью, какая бывает у людей, проводящих жизнь в помещениях с малым количеством света. На голове мягкий войлочный колпак, какие носят восточные книжники, чуть сдвинут на затылок. В руках держал связку свитков, прижимая их к груди. На пальцах правой руки зелёные пятна — въевшиеся чернила, уже не отмываются.

— Это Лео, — сказала Мирьям. — Лео, это Барух. Каменщик.

Лео посмотрел на меня поверх свитков. Глаза серые. Взгляд был внимательный, но не давящий.

— Каменщик. Хорошо. Как сказал Экклезиаст... — Он запнулся, махнул рукой. — Нет, не буду. У меня полка третьего яруса провисла. Ты с деревом работаешь?

— Если хорошее. С сосной плохо — ведёт. Дуб держу.

— У меня дубовые.

— Тогда поправлю.

Лео кивнул — как человек, у которого давно лежала мелкая забота, и наконец нашёлся тот, кто её снимет, — и прошёл мимо нас к внутреннему коридору, не выпустив свитков из рук.

— Полки ему Гершон ставил, — сказала Мирьям. — Своими руками. Из дуба, который Гершон сам срубил за городом. Гершон обтёсывает грубо, но держит крепко. Провисло: Лео нагрузил сверх меры.

— Сколько свитков?

— Сорок семь.

— Сорок семь — и провисают полки?

Я посмотрел на неё, ожидая, что она усмехнётся: сорок семь — немного. У нас в Кесарии у Элиши под койкой был мешок свитков от отца, рецепты костоправа, и полки в бараке под этот мешок не просели бы. Но Мирьям не усмехнулась.

— Это плотные свитки, — сказала она. — Из Александрии.

Помолчала. Взвесила.

— Лео вынес их из библиотеки, когда горело. Было восемьсот — тех, что он обслуживал. Он успел с сорока семью.

Я молчал. Я представил большую залу с деревянными шкафами вдоль стен, и огонь где-то у дальнего конца, и человек в колпаке бежит по проходу с охалкой, прижимая её к груди, и бежит обратно, и ещё раз, и ещё, пока жар не выгонит его окончательно. И у меня в животе сжалось так, как сжимается, когда падаешь с лесов и в долю мгновения понимаешь, что падение началось.

— Он спас сорок семь, — сказал я. — А не потерял семьсот пятьдесят три.

Мирьям подняла на меня глаза.

— Ты быстро считаешь.

— Каменщик всегда считает. Блоки, ряды, пролёты. Иначе стена выйдет кривой.

— А буквы?

— Буквы — не считаю. Не знаю букв.

Она помолчала, глядя на мои руки, лежавшие на столе. Руки каменщика, не книжника.

— Лео скажет, что это поправимо, — сказала она. — Я скажу — нет. Ты каменщик, Барух. Смотришь руками. Буквы — другое зрение; у одних оно есть от рождения, у других нет. Учить можно, но неохотно, и к старости всё равно путаешь. Не расстраивайся.

Я не знал, что на это ответить. Я кивнул.

— Ешь дальше, если хочешь. Потом я тебе кое-что прочту.

— Я уже ел. Спасибо. Читайте.

*

Она встала, отнесла миску к окну, где стояла лохань с водой, ополоснула, поставила вверх дном на полку. Вернулась за стол. Достала из складки столы небольшой свиток — не новый, затрёпанный по краям, — развернула, положила перед собой вверх ногами к себе, нормально ко мне. Читала не с листа, а по памяти, а лист держала для меня: чтобы я смотрел на знаки.

— Это по-гречески, — сказала она. — Ты поймёшь или нет?

— Не пойму. Я в Антиохии слышал, как говорят, но слов знаю десятка два.

— Тогда слушай просто, как оно звучит.

Она стала читать.

Я слушал. Слов не понимал. Помнил ритм. Ритм был хороший — как в правильно сложенной арке, где шесть камней идут по дуге, потом замок, потом снова шесть камней на спуск.

Фразы ложились одна в другую, не соскальзывая. Иногда в ряду мелькало слово, которое я узнавал — «кириос», «патер», «логос» — и эти слова тянули за собой русло, по которому шла музыка.

Она дочитала. Свернула свиток, положила на стол.

— Ну? — спросила.

Я подумал. Сказал то, что думал:

— Хорошая работа.

Мирьям не рассмеялась. Наклонила голову набок.

— Какая?

— Ровная. Каждое слово лежит в гнезде. Снять одно — поедут другие. Как дорога, по которой я пришёл. Слишком хорошо сложено, чтобы один человек сложил за свою жизнь.

— А за сколько?

— Тогда — может быть. Но тогда должен быть мастер, которого слушают.

— Мастер или мастера?

— Мастер. Несколько не сойдутся. Несколько всегда ссорятся.

Она положила обе ладони на свиток.

— Ты опытный, Барух.

— Я на стройках был десять лет. Я видел.

— Видел, — повторила она. — Хорошо. Завтра Лео покажет тебе полки. Гершон — огород. У нас у каждого своё дело. Теперь — у тебя тоже.

Она протянула руку к восковой табличке, лежавшей с краю стола, взяла стило и приписала в уголке ещё строку. Что приписала, я не разглядел; буквы были мелкие и косые, как у человека, экономящего воск.

*

Она встала и повела меня в каморку, где я буду спать.

Каморка была маленькая, в северной части дома, с окошком под самым потолком и узкой кроватью из досок. Над кроватью висела полочка грубой работы — Гершоновой, я узнал по несимметричным штырям. На полочке стоял глиняный светильник и лежал чистый лоскут полотна.

— Помойся, — сказала Мирьям. — Вода в имплювии. Ложись спать. Завтра начнёшь.

Она вышла, прикрыв за собой дверь — не плотно, оставив щель в палец.

Я сел на кровать. Доски ровные, без задиров. Провёл по ним ладонью, как провёл бы по хорошему камню: гладко. Кровать делал не Гершон — у него дерево не бывает гладким. Кто-то до него.

Снял тунику. Она стояла колом от дорожной пыли и пота. Взял лоскут полотна, пошёл к имплювию.

Гершон во дворе был там же. Вечер спустился, но два масляных фонаря у стены давали света достаточно, чтобы работать. Он пересаживал молодой чеснок, в два зуба. Я прошёл мимо, зачерпнул ладонями воды из имплювия, стал мыться. Вода была холодная, но не студёная. Я обливал себя с головы, с плеч, с груди, смывал дорогу. Пыль Птолемаиды, пыль Антиохии, пыль Тавра, соль Тарсосу, дождь Аппиевой. Всё сошло в камень двора.

Я вытерся, повесил мокрый лоскут на горшок, пошёл обратно.

Проходя мимо Гершона, я замедлил. Он был занят. Я не хотел мешать. Но он сам поднял голову, посмотрел на меня снизу вверх, с корточек. Показал испачканным пальцем на утоптанную землю рядом с собой. Потом на свободный горшок у его колена. Потом на рассаду.

Сесть и помочь.

Я сел. Гершон протянул мне пустой горшок. Я подержал его на коленях — обычный рыжий глиняный горшок, с одной трещиной по боку, заделанной свинцовой скобой. Гершон взял черенок рассады, показал: низ корня в землю на два пальца, верхний листверху, землю

вокруг обжечь ладонью, но не сильно. Я сделал, как он показал. Первый черенок. Второй. Третий.

Мы сидели в сумерках, он пересаживал свой ряд, я свой, ни один из нас не сказал ни слова. Со стороны можно было принять нас за родственников, которые давно занимаются одним делом. Но я этого старика видел второй час жизни.

Когда закончили, Гершон встал — с усилием, колени не разгибались без щелчка, — и пошёл к колодцу умыться руки. Я встал следом. Он посмотрел на меня через плечо.

— Долго, — сказал он.

*

Я вернулся в каморку. Лёг. Глиняный светильник на полочке горел тихо, без подтёка. Тень моя от него ходила по стене, когда я ворочался.

За окошком темнело. С нижней улицы, с Субуры, доносился шум: крик возницы, лай собак, звон железа. Рим жил.

Я лёг на спину, закрыл глаза. Голова была пустая от усталости. Ноги гудели. Живот был тёплый от чечевицы. И, уже засыпая, я услышал за стеной — тонкой, в полкирпича — два голоса в соседней комнате. Шимон и Мирьям. Слов я не различал, только тон: Шимон говорил ровно, Мирьям — коротко, возражая. Один раз прозвучало моё имя, и ещё два слова, которых я не понял, потому что они были не по-гречески и не по-арамейски. После этих слов Мирьям помолчала, потом сказала что-то длинное; Шимон ответил одним словом и вышел — я услышал, как под ним скрипнула половица в коридоре. Я ещё полежал, пытаясь додумать, о чём они говорили, — и не додумал.

Последнее, что я подумал перед сном, было: «Полка провисла — поправлю. Чеснок пересадили — хорошо. Завтра дадут поесть». Как в бараке в Кесарии — только вместо Иоаса тут Шимон с починенными сандалиями, и вместо Ребекки — Мирьям с кольцом, повернутым к ладони, и еда вкуснее.

Я заснул.

Глава 6. Век

Утром я проснулся рано. За окошком было серо, в доме — тихо; только от кухни шёл дым струйкой — кухарка уже ставила на очаг воду. Я сел на кровати, осмотрелся в свою каморку: низкий потолок, узкое окно под ним, побелённая в углу стена, где её месяц назад чинили, — трещина шла от угла вниз, заделана плохо, не тем раствором, без вулканической пыли, видно сразу. Это я отметил. Потом отметил вторым: руки у меня болят.

Не сильно. Но на правом предплечье, ближе к запястью, был надрез — от Путеол, где я зацепил руку о бортовой гвоздь, когда сходил с корабля. Он был закрыт полоской моей тряпицы, которую я намотал по дороге; тряпица за три дня дороги промокла, засохла, подсыхала неровно. Утром я её размотал и посмотрел: порез был длиной в палец, неглубокий, но края ещё красные. Вчера я его не показал никому — забыл, был занят тем, чтобы не съесть чечевицу слишком быстро.

Я пошёл к имплювию смывать. Во дворе никого не было — я думал. Оказалось, Мирьям уже стояла у колодца с кувшином воды.

— Доброе утро.

— Доброе утро.

Я присел у имплювия, начал смывать с руки бурую корку вокруг пореза. Мирьям, не подходя, спросила:

— Давно?

— Три дня.

Она поставила кувшин, подошла, взяла мою руку за запястье. Руки её были сухие, прохладные. Осмотрела порез, потом вернулась в дом — без слова — и через минуту вышла с маленькой глиняной баночкой. В баночке была мазь, зелёная, пахнущая лавром.

— Это Лео делает. Для царапин. Помажь и оберни. К вечеру подсохнет.

— Пройдёт само. У меня руки заживают быстро.

Мирьям посмотрела на меня. Не с любопытством, не с участием — так, как смотрят на блок, который собираются положить в ряд.

— Помажь всё равно.

Я помазал. Она дала мне чистую полоску полотна, я обернул. Мирьям забрала баночку, унесла. Я сидел у имплювия, смотрел, как вода в нём рябит от ветра сверху, и думал, что не могу вспомнить, когда последний раз мне мазали руку чем-то, кроме собственной слюны. Лет десять назад, может. В Магдале, когда сестра ещё была маленькая.

К вечеру полоса, которой я обернул руку, промокла не от крови — порез уже закрылся. К ночи — совсем высох. На следующее утро я размотал полотно и увидел: на руке была розовая полоска, почти незаметная, как старый шрам недельной давности. Я потрогал её — гладкая.

Я этому удивился ровно на одну минуту. Вспомнил: так же было в Иерусалиме когда-то, с порезом на ладони после лопнувшего камня. Подумал: руки у мастера заживают быстрее рук писаря; это я знал давно. Сложил полотно, выбросил.

Мирьям в тот день в кухню не зашла. Она была у себя, за столом. Я проходил мимо её двери и слышал, как стило её скрипит по воску — короткими заходами, по три-четыре знака. Писала что-то, что я не видел.

*

Полку я починил в первый же день.

Дубовые доски Гершона, как мне и сказала Мирьям, держали крепко — провис был не от доски, а от штыря: один, правый, разболтался в стене, и под тяжестью сорока семи александрийских свитков весь ярус пошёл на ладонь вниз. Я вынул штырь, расширил гнездо, забил клиновидную пробку из той же дубовой щепы, вбил штырь обратно — туго, с натяжением.

Полка встала ровно. Лео пришёл со своими свитками, уложил их один к одному — плотно, но не впрытык, как укладывают то, что ценят; закрыл полку тканью от пыли и только тогда посмотрел на меня.

— Хорошо.

Кивнул и ушёл к себе. Благодарить вслух Лео, как я понял позже, не умел: благодарил он лепёшкой, которую потом, к вечеру, приносил из кухни и клал мне на стол в каморке — без записки, без слов, просто лепёшка. Первую я съел, не разобравшись. Вторую — через три дня — уже понял и съел тоже.

Я остался работать. Не потому, что решил — никто меня ни о чём не спрашивал. Я починил полку, назавтра Гершон с утра позвал меня в огород — не словом, а тем же жестом, каким звал в первый вечер: пальцем на землю рядом, потом на рассаду. Я сел. Мы пересаживали чеснок дальше того ряда, который начали тогда. К полудню закончили. Гершон встал, показал ладонью на горшки у стены — «обжать, полить», — и ушёл к колодцу. Я обжал, полил. К вечеру мне вынесли ужин на тот же стол в каморке, где лежала лепёшка от Лео. Ужин был Мирьямин — чечевица, хлеб, маслины, вода с уксусом. Я ел и думал, что не спросил у них, на каких условиях я остаюсь. Они тоже не спросили. Я решил, что спрошу утром. Утром — забыл. Дальше дни пошли по заведённому кем-то порядку, и порядок этот я принял, как принимают в артели устав: не глядя в устав, а глядя, как работают другие.

Шимон по вечерам выходил в город. Он всегда уходил перед закатом и возвращался уже в темноте, с прошитыми сандалиями, в пыли по колено, молча, кивая мне, если мы встречались во дворе. Куда он уходил — я не знал и не спрашивал. Раз в декаду он брал меня с собой. Мы шли через Субуру, потом через Целий, потом через Виминал — Шимон показывал мне акведуки. Каждый, мимо которого мы проходили, он обходил медленно, проводил ладонью по шву, иногда останавливался у какого-нибудь замка и говорил: «Этот — при Клавдии. Вот здесь — треснул, меняли.» Или: «Этот старый, при Августе ещё. Держит. Скоро потребует замены с севера.» Он знал Рим не по улицам, а по кладке. Мы не разговаривали о другом; разговоры о кладке заменяли нам всё. Вернувшись, Шимон говорил Мирьям: «Целий — в порядке. Виминал — трещина на сто двадцатом пролёте, надо будет писать.» Мирьям кивала, брала восковую табличку и записывала.

Табличку я замечал чаще. Она лежала у неё на столе всегда — маленькая, деревянная, с залитым воском углублением. Мирьям писала в ней мелкими косыми буквами, стерев предыдущие стилем с плоским концом, — сэкономила воск. Я видел, как она стирает и записывает, и не понимал букв, но видел ритм: три строки, пять, две, снова три. Каждый вечер она что-то дописывала. Раз в декаду — обтирала дочиста и начинала заново. То, что было раньше — куда-то уходило; на какие-то свитки, которых я не видел.

*

Латыни меня начала учить Мирьям — в первый же месяц, без предупреждения.

Я сидел во дворе, чистил зубило — точильным камнем снимал заусенец, появившийся от работы с туфом. Мирьям вышла из дома с корзиной белья, поставила корзину у колодца и села напротив меня на низкую скамью. В руках у неё была восковая табличка — не её обычная, а чистая, с нетронутым воском.

— Барух.

— Да.

— Ты хочешь читать?

Я поднял голову. Ответ — «не знаю» — был честный, но не полный. Я хотел, чтобы Ривке в Магдалу дошло письмо, которое я бы написал сам. До этого письма писал за меня Тит, и Тит менял мои слова. Если бы я умел писать сам, Ривка бы читала меня, а не Тита. Это я хотел. Читать — отдельно — я хотел меньше.

— Хочу писать.

Мирьям кивнула. Тем кивком, которым она мне положила чечевицу в первый вечер: ни похвалы, ни насмешки — согласие с тем, что я сказал.

— Писать без чтения нельзя. Одно не работает без другого.

— Я знаю. Я думал, может, короче.

— Короче не бывает. — Она положила табличку на скамью рядом со мной. — Смотри. Это буква. Она называется А. Звук — «а». Вот так. — И стилем, быстро, чисто, нарезала в воске: А.

— А.

— Следующая. L. Звук — «л».

— Л.

— Вместе — AL. Начало твоего имени.

Я посмотрел на две буквы. Они стояли рядом, как два камня в первом ряду. Ровно. Шов — одинаковый. Работа Мирьям была точная: стилем она держала, как я держу кельму — не за конец рукояти, а чуть ближе к лезвию, чтобы давление шло от ладони.

— Моё имя начинается не с «ал».

— Твоё римское — будет. Барух по-латыни — Barukhus. Получается «Ва». Но писать мы начнём с «AL». Это проще.

Я не стал спорить, хотя не понял — почему «ал», если имя с «ба». Мирьям моих вопросов не дождалась; она уже показывала третью букву.

Шесть букв она мне дала в первый день. Записал я их в память так, как каменщик записывает блоки: А — квадратная со скосом, L — прямая с подножкой, S — волна, как пена на гребне, T — молоток, Z — зигзаг. И ещё одна, шестая, которую я сразу забыл, а на следующий день не вспомнил. Мирьям не рассердилась:

— Потеряй одну — остаётся двадцать пять. Одна буква меньше — не катастрофа. Катастрофа — потерять тридцать.

— А их сколько?

— Двадцать шесть.

— Много.

— Много, но не больше камней в ряду хорошей стены. Ты клал ряды в тридцать блоков?

— Клад.

— Вот и буквы — ряд. Учи по одной за раз. Год — и прочтёшь, что сейчас пишешь.

Я согласился. К концу первого месяца я знал двенадцать букв. К концу третьего — все двадцать шесть. К концу шестого — складывал в слова, но читал только те, которые знал устно. Писать — ещё нет.

Слова мои первые шли странные. Мирьям велела начинать с того, что я видел каждый день. LAPIS — камень. MURUS — стена. DOMUS — дом. CAMERA — комната. HORTUS — огород. AQUA — вода. PANIS — хлеб. Я выводил их стилем, и каждое моё слово стояло криво, как блок, положенный учеником. Мирьям правила, не стерев, — ставила рядом то же слово своей рукой, чтобы я видел разницу. Её буквы стояли ровно; мои — ещё нет.

Однажды, когда я выписал MURUS в десятый раз и оно уже легло ровно, Мирьям посмотрела и сказала:

— Ты научишься быстро.

— Не быстро. Шесть месяцев.

— Шесть месяцев — это быстро. Другие учатся десять лет и не пишут MURUS так, как ты сейчас. У тебя рука знает кладку; буквы для тебя — ещё один ряд, и ты их выравниваешь тем же отвесом. Это в тебе уже есть. Я только показываю знаки.

Я не ответил. Похвала её меня не тронула, как не трогала похвала торговца, глядящего стену, которую я ему сложил. Мирьям это заметила и больше не хвалила. Но табличку каждое утро проверяла и, если я делал ошибку, исправляла в двух словах: «вот здесь криво».

*

Лео к моей учёбе не лез. У Лео была своя комната, свои свитки, своё стило с зелёным наконечником и чернильница с зелёной тушью. Писал этой тушью он один во всём доме. Он входил в общий зал только к ужину, и то не всегда. Когда входил, приносил с собой запах старого папируса, воска и сухих лавровых листьев: в своих ларцах он прокладывал свитки лавром — от жучка. Лавр в доме пах не от кухни, а от Лео.

Иногда Лео приходил в мою каморку. Стучал, ждал, входил. Приносил что-нибудь — лепёшку, кусок сыра, однажды целый маленький горшок мёда. Садился на кровать, клал принесённое рядом, говорил одно-два предложения и уходил.

В один из первых таких приходов — мне ещё не было и двух месяцев в доме — Лео сел на кровать и увидел на полу под ней свёрток. Я в этот свёрток не заглядывал с Кесарии: пять костоправных свитков Элиши, отца его, по греческой медицине, обёрнутых в льняную тряпицу, завязанных кожаным ремешком. Я их нёс через Тавр, через море, через Аппиеву. Приносил в каморку, клал под кровать. Не открывал — не умел читать. А теперь, когда стал учиться, вспоминать о них было неловко: я умел полтора десятка букв, не больше, и свитки лежали для меня так же, как лежали раньше.

— Что это?

— Свитки. Учителя одного, он в Кесарии умер. Костоправные. Мне их отдали.

Лео наклонился, достал свёрток, развязал, развернул один. Смотрел долго. Глаза его зажглись так, как зажигаются у пекаря при виде хорошей муки.

— Александрийская рука. Начало нашего века, может, чуть раньше. Копии с текста второго века до нашей эры, но писец знал, что копирует: отметил стилем, что где правлено. Редкая школа. Откуда они у твоего учителя?

— От отца. А у отца — от его отца. Элиша говорил, три поколения по нашей семье.

Лео осторожно свернул свиток обратно. Посмотрел на меня.

— Слушай, Барух. У тебя они под кроватью. Там влажно, там мыши, там ты ходишь. Через десять лет они будут трухой. Отдай их мне. У меня в ларцах — лавр, сухость, полка от мышей. Пролежат ещё пятьсот лет. Читать их ты научишься; когда научишься — приходи, читай. Они останутся твои.

Я подумал. Секунду. Свитки для меня ничего не значили как вещи — я в них не умел. А то, что говорил Лео — пятьсот лет — значило.

— Бери.

Он взял. Пошёл к выходу. У двери обернулся.

— Барух.

— Да.

— Хорошие свитки. Спасибо.

Ушёл. Свитки Элиши из моей каморки ушли в ларцы Лео. Я их потом не видел полвека. Но знал, что они там. Это было спокойнее, чем если бы они лежали под кроватью.

В четвёртом месяце моей учёбы он принёс мне обрывок папируса.

— Это.

— Что?

— Это слово, которое ты знаешь.

Я посмотрел. Латинские буквы. Длинные. Я разобрал три из двенадцати: М, N, R. Остальные тогда ещё путал.

— Не знаю.

Лео положил палец под слово.

— COMMENTARIUS.

Я повторил вслух.

— Коммента... риус.

И тут у меня стало в голове то, что бывает, когда камень, который долго не подходил к ряду, вдруг встал. «Комментарий». Эфесский учитель у костра, в первую ночь на Аппиевой. «Свобода, остальное комментарий.» И мой собственный, тогдашний, перевод: «То, что говорят поверх того, что есть. Поверх кладки — штукатурка.»

— Я знаю это слово, — сказал я. — Я его слышал. По-гречески.

Лео кивнул.

— Оно есть в двух языках. Комментарий греческий, комментарий латинский, смысл один. Слово живёт сразу в двух стенах. Ты это потом много раз увидишь.

— Кто его придумал?

Лео посмотрел на меня очень внимательно. Это был первый раз, когда он посмотрел на меня не как на починщика полок.

— Никто его не придумал. Оно было.

— Слова не бывают сами. Кто-то сложил.

— Да. Но имени этого кого-то уже не знает никто. Он умер две тысячи лет назад, а слово осталось. Это, Барух, первое, что надо понять о словах: они переживают тех, кто их сказал.

Он встал, забрал обрывок папируса, пошёл к двери. У двери обернулся.

— Ты сегодня выучил самое важное слово. Остальные пойдут быстрее.

И вышел. Я долго сидел, глядя в воск, где у меня было выведено моё вечернее упражнение — шесть раз DOMUS. Потом взял стило и в пустом углу воска медленно, криво, но узнаваемо написал: COMMENTARIUS. Двенадцать букв. Первое моё длинное слово.

*

В седьмой месяц я попросил Мирьям написать письмо сестре в Магдалу.

Я не умел ещё писать сам — двух строк не выдержал бы, рука бы заплелась. Но я хотел, чтобы письмо пошло.

— Напишу, — сказала Мирьям. — Что ты ей скажешь?

Я сел на скамью напротив её стола. Она взяла восковую табличку, разгладила воск. Ждала.

— Скажи ей, что я жив. Что в Риме. Что работаю у мастеров. Что посылаю ей десять динариев.

Мирьям посмотрела на меня.

— Десять динариев у тебя сейчас есть?

Я запнулся. Десяти динариев у меня не было. У меня было семь — то, что дал подрядчик в Кесарии, плюс три асса сдачи от сандалий в Путеолах. Я про них и забыл; жил без денег всё это время, в доме мне ничего не стоило ни еды, ни крыши. Мирьям ни разу за семь месяцев не попросила.

— У меня семь.

— Я добавлю три. Пошлю десять.

— Вернуть когда?

— Когда сможешь. — Она сказала это тем же тоном, каким в первый вечер поставила миску с чечевицей. — Напишу, что ты в Риме, работаешь, что посылаешь. Дальше?

— Скажи ей... — Я подумал. — Что ты жив, и чтобы она не ждала меня скоро. Что я вернусь, когда смогу. Нет. Просто — что я жив и посылаю.

— Написала.

Я услышал, как стило скрипнуло по воску, — и Мирьям стала выводить знаки, которые я уже знал. Я смотрел. Она писала быстро; я узнал BARUCH, потом MAGDALA, потом X (это было число — десять). Потом два слова, которых я не знал, но в них мелькало сочетание, похожее на то, что я учил.

— Что там?

— SORORI SUAE. Сестре своей.

— А дальше?

— Дальше — адрес, день, имя менялы, который примет. Это я пишу сама. Ты ещё не знаешь этих слов. Постепенно узнаешь.

Она закончила, сняла копию — на папирус, мелкими ровными буквами, как переписчик. Свернула, запечатала воском. Печати на перстне у Мирьям я не знал — это был тот самый перстень, тёмно-красный камень, повёрнутый внутрь к ладони. Когда она печатала письмо, она повернула перстень камнем наружу; я впервые увидел, что на камне вырезан знак — маленький, круглый, не буква и не цифра, что-то вроде стилизованного узла. Печать легла на воск чисто. Потом Мирьям снова повернула перстень внутрь. Быстрым движением, как человек, привыкший прятать.

— Завтра уйдёт, — сказала она. — В ПUTEОлы, оттуда с караваном на восток. Через декаду будет в Магдале.

— Десять динариев тоже с караваном?

— Нет. Деньги идут отдельно. Меняла в ПUTEолах возьмёт у меня три, напишет расписку, отдаст курьеру. Курьер — человек нашего менялы в Антиохии. Антиохийский отдаст своему человеку в Кесарии. Кесарийский — сирийцу в Магдале. Сириец — твоей сестре. Потери по дороге — полтора процента, это я заложила сверху. Всего у меня уйдёт двенадцать монет; десять дойдут.

Я сидел и слушал. Эта цепочка — пять человек, четыре страны, полторы декады — была длиннее, чем всё, что я мог бы придумать сам. Я бы нанял путника, отдал бы ему динарии, и пять из десяти бы дошли, если б путник оказался честный; если нет — ноль. А через Мирьям дойдут десять. Это была работа, которую делали привычно, не один человек, а сеть людей.

— Кто все эти менялы?

— Наши люди. — Мирьям сказала это спокойно, как говорят «наш плотник» или «наш пекарь». — В каждом большом городе у нас есть один. Или был. Если нет — Шимон ищет нового.

— Наши — это чьи?

Мирьям посмотрела на меня. Долго. Потом сказала:

— Твои тоже. Теперь.

И больше ничего не добавила. Вернулась к табличке, положила стило, стала что-то стирать плоским концом.

Я встал, поклонился ей и вышел во двор. Гершон сидел на корточках у горшка с мятой — обрывал жёлтые листья. Шимон был на крыше — проверял желоба, которые к осени забились птичьим пухом. Лео где-то в своей комнате, я его не видел.

Я сел у колодца. Подумал: я живу с ними восьмой месяц и не знаю, кто они. Кроме имён.

Но письмо моё пошло. Три динария Мирьям добавила, не считая. Десять монет идут в Магдалу.

Я решил — пока не спрашивать. А там посмотрим.

К вечеру Мирьям позвала меня ужинать вместе со всеми, впервые — до этого я ел у себя или на кухне, в стороне. На общем столе стоял блюдо с жареным мясом, что в доме было редко, и кувшин хорошего вина. Шимон налил мне первому, Мирьям кивнула. Лео молча отрезал ломоть хлеба. Гершон посмотрел на меня один раз — долгим взглядом — и вернулся к тарелке.

— Чего празднуем? — спросил я.

— Ничего, — сказал Шимон. — Просто сегодня.

Я ел. Мясо было хорошее.

*

Года через два я сам себе писал в табличку письмо сестре. Мирьям проверяла, правила ошибки — их становилось всё меньше. Через три — писал без правки. Письма Ривке уходили два раза в год, с караваном. Приходили от неё реже: Ривка сама читать не умела, писал за

неё муж-рыбак из Магдалы — неровно, коротко, с ошибками, которые Лео мне объяснял с удовольствием, как объясняют кривую кладку: «видишь, где у него заваливается? он думает, что после гласной здесь нужна согласная. Обычная ошибка рыбака. Грамматика у неграмотных идёт вслед за произношением.»

В первом её письме было: «Я у него замужем. Муж — Элеазар, рыбак. Хороший. Спасибо за динарии.» Во втором: «У меня сын. Назвали Натаном, как нашего отца. Спасибо за динарии.» В третьем: «Мать мужа умерла. Дом теперь наш. Спасибо за динарии.»

Я читал эти «спасибо за динарии» и понимал, что Ривка не знает других слов, чтобы меня благодарить. Хорошие слова в Магдале были в дефиците, как пресная вода в Кесарии — их берегли для бога и для мёртвых. Живым хватало «спасибо».

Письма я перечитывал раз в декаду, вечером, при лампе. Мирьям как-то увидела, ничего не сказала. На следующий день принесла маленький ларец — из кедра, с бронзовыми петлями, размером с кулак.

— Для писем, — сказала она. — Кедр бумагу бережёт. Не плесневеет.

Я положил туда три Ривкиных листка. Полка в ларце была просторная — на сто таких. Я подумал, что это слишком: Ривка пишет раз в год, ларец будет стоять пустым. Так я думал тогда.

*

Лето было жаркое. В Риме в июле на крышах сохло бельё за два часа, вода в имплювии нагревалась к полудню до того, что ею можно было мыться без огня. Я работал на верхнем этаже одного домуса на Квиринале — владелец-сенатор заказал перекладку мозаики в атриуме, пол просел, и плитки начали трескаться. Подрядчик — знакомый Шимона, имя его я уже забыл — взял меня в свою артель. Работали мы трое: я, мой подручный — молодой нумидиец по имени Масса, — и пожилой этруск Авл, который всю жизнь клал мозаику и теперь уже плохо видел, но руки его сами шли.

В третий день я порезал левую ладонь об острый край смальты — плитка из синего стекла, тонкая, с заусенцем по краю, лопнула у меня в руках, когда я её подбивал. Порез был глубокий, пошла кровь. Я замотал руку куском полотна, который Масса мне подал, и работал дальше до вечера одной правой. Вечером дома Мирьям увидела повязку, велела снять. Промыла рану вином, положила сверху мазь из своего ларца — белая, пахнущая лавром, — обмотала чистой тряпицей. К утру я встал, размотал тряпицу — под ней была розовая полоска, тонкая, уже сухая, похожая на шрам недельной давности. Я подумал: мазь Мирьям хорошая. И пошёл на работу. Мирьям в то утро на меня не посмотрела; ушла в свою комнату, закрыла за собой дверь. Вышла только к обеду.

Шестой день работы, после полудня, я почувствовал запах дыма. Не близкий. Пришёл с севера, с той стороны Тибра, откуда ветер шёл к нам через весь город. Масса поднял голову. Этруск принюхался, но ничего не сказал. Мы работали дальше.

К вечеру дым сгустился. Улицы потянулись людьми — шли с узлами, с корзинами, с детьми на руках. Мы с Массой бросили работу, поднялись на крышу домуса посмотреть. Оттуда было видно: за Тибром — зарево. Большое. Горел Рим.

Я вернулся в дом Шимона бегом. Шимон стоял во дворе, смотрел вверх. Небо над нашим кварталом ещё не дымилось — ветер шёл в другую сторону, — но дым висел по краям, как пыль над стройкой.

— Мы хорошо стоим, — сказал Шимон. — Сюда не дойдёт. Целий высокий, ветер его обходит.

— Что делают?

— Тушат. Часть тушит, часть разбегается. Город без воды снизу — вода наверху, в акведуках, вниз её не спустить. Тушат тем, что носят в бадьях. К утру половину города сгорит.

Я смотрел на Шимона — он говорил так, будто это уже было. Мы спустились во двор. Мирьям собирала ларец со свитками, переносила в подвал. Гершон доставал воду из колодца и разливал её по глиняным кувшинам — расставлял у стен. Лео стоял в проходе своей комнаты с охапкой свитков, не знал, куда их нести, в глазах у него был страх, какого я у Лео не видел раньше.

— Лео. — Шимон подошёл, положил ему руку на плечо. — Не надо. Не повторится.

Лео закрыл глаза, кивнул.

Я ничего этого тогда не понял. «Не повторится» — про что? Я подумал, что Шимон имеет в виду Рим: Рим не сгорит весь, потому что Целий высокий. Только много лет спустя — когда Лео однажды рассказал мне про Александрийскую библиотеку, про то, как бежал с сорока семью свитками, пока жар не выгнал его окончательно, — я понял, что Шимон его тогда успокаивал не про Рим. Он говорил Лео: «Тот раз был, второго не будет.»

В ту ночь мы не спали. Дом пах дымом с улицы. Я сидел во дворе у колодца, Гершон рядом — тоже не ложился. За стеной с юга кто-то всю ночь бил в сковороду и кричал «вода! вода!» — пытался собрать людей идти к Тибру за водой. Никто к нему не собрался: все были заняты своим.

К утру ветер переменился, пошёл с запада. К нам принесло гарь, копоть, обрывки папируса — много обрывков. Они садились на крышу, на двор, на листья инжира. Лео вышел на двор на рассвете, нагнулся, поднял один. Кусок папируса с обугленными краями. Что-то было написано — я разобрал несколько букв. Лео долго держал кусок в руках, потом положил во внутренний карман туники.

— Это не наше, — сказал я.

— Теперь наше, — сказал Лео. — Всё, что уцелело, — наше.

*

Рим отстраивался три года.

Я работал всё это время. Квартал за кварталом, артель за артелью — везде требовались каменщики, везде платили хорошо, везде поджимали сроки. Я получал в пять раз больше, чем в Кесарии; динарии копились. Третью я отдавал Мирьям «на общее», как она говорила; треть — откладывал; треть — отправлял Ривке.

Ривка писала чаще. У неё теперь было двое сыновей. Натан и Элеазар, как отец мужа. Она звала меня приехать. «Приезжай, брат. Посмотришь на детей. Они тебя не знают.» Я не ехал. Отвечал: «В Риме работа, приехать сейчас не могу. Посылаю.»

Мирьям читала мои письма, прежде чем запечатать. Однажды спросила:

— Почему не едешь?

Я подумал. Ответ был в голове давно, но вслух я его ещё не формулировал.

— Там я был каменщик, которому не заплатили. Приеду — буду каменщик, которому заплатили. Разница только в монетах. А сестре нужен брат, не монеты.

— Монеты ты ей посылаешь.

— Монеты — от чувства вины, что я уехал. Если я приеду и привезу их лично, вина пройдёт. Это нехорошо.

Мирьям посмотрела на меня пристально.

— Ты думал об этом.

— Думал.

— И ты прав. Вина — полезная вещь, пока ею кормят. Потухнет — и тебе будет не о чем помнить, что у тебя есть сестра.

Она запечатала письмо и убрала в мешок для курьера.

*

Я научился читать по-гречески на седьмом году. Лео дал мне свитки — сперва лёгкие, простые тексты, потом посложнее. Я читал вслух, спотыкаясь; Лео поправлял. К концу седь-

мого года я прочёл Гесиода — «Труды и дни». Не полностью, с пропусками; но прочёл. Мне понравилось. Гесиод писал как каменщик: что сеять, когда пахать, где ставить ограду. Это была не философия, это был устав. Уставы я понимал.

На шестой год Мирьям привела меня в соседнюю комнату, в которой я раньше не бывал. Комната была маленькая, узкая, с одним окошком под потолком. У окошка — стол с восковыми табличками, стопкой папирусов, чернильницей. На стене — полка со свитками, небольшая, штук двадцать.

— Это твоя комната. Будешь сюда приходить каждый день. Писать.

— Что писать?

— Что я дам.

Она положила на стол первую табличку. В ней было одно слово — греческое, короткое. ЛОГОС.

— Это слово ты знаешь?

— Знаю. Логос. Слово. Закон. Причина.

— Правильно. Возьми стило, перепиши его в другую табличку пять раз. Чисто, как сам видишь.

Я сел, переписал. Она проверила.

— Ровно. Теперь на папирус. Одна строка — пять раз. Одна под другой. Ровно. Без пома-рок.

Я написал. На папирусе рука моя дрожала больше, чем на воске; первое ЛОГОС вышло криво, остальные четыре — ровнее. Мирьям посмотрела.

— Хорошо. Завтра я дам другое слово. Каждое утро — одно слово. Пять раз на воске, пять на папирусе. Папирус оставляй здесь, на столе. Я буду забирать.

— Зачем?

— Я собираю. Когда-нибудь пригодится.

Я не стал расспрашивать. Я уже знал: когда Мирьям говорит «зачем не скажу, пригодится», лучше не продолжать.

Каждое утро с того дня я сидел в этой узкой комнате сорок минут до завтрака и писал. Одно слово. Пять раз. Папирусы исчезали к ночи — Мирьям забирала, складывала в свои ларцы. Я не видел ни одного из них повторно. Они уходили куда-то в её систему, в её сеть, и я не знал, что с ними там делают.

Года через два я заметил: слова, которые мне давала Мирьям, — повторялись. Не часто; раз в полгода, раз в год. Но одно и то же слово приходило снова. В первый раз я его писал в первый год, потом оно возвращалось на второй, на третий. И каждый раз я замечал, что моё письмо того же слова становится другим — ровнее, увереннее. А иногда, наоборот, — другое по букве, которую я почему-то стал выводить иначе, чем раньше.

Я спросил Мирьям:

— Зачем одни и те же слова?

— Чтобы видеть, как ты их пишешь. Слова стоят на месте; пишут их люди, а люди меняются. По букве можно понять, что с человеком произошло за год.

— А ты что со мной видишь?

Мирьям посмотрела на меня. Долго.

— Ты стареешь медленно.

Она сказала это спокойно, не подчёркивая. Ушла. Я остался сидеть.

Я не знал, что она имела в виду. Я знал только одно: когда мы с ней писали первое AL в моей каморке, мне было за тридцать. Сейчас мне было за сорок. В зеркало — маленькое, бронзовое, которое Мирьям иногда давала мне для бритья, — я смотрел редко. По пальцам, когда брился, чувствовал: борода у висков поседела немного. По рукам видел, что на костяш-

ках прибавилось мозолей. Десять лет прошло; я постарел на пять. Я это объяснил работой: каменщики в Риме живут дольше галилейских — едят лучше, пьют чаще, пыль не та.

Потом я забыл об этом. Писал слова дальше.

*

Говорить со мной о работе Шимон пришёл через много лет — я уже сбился считать, сколько. Борода у меня была седая у висков, Мирьям красила её отваром ореховой шелухи, и я выходил из-под её рук темноволосый, как в молодости. Кельма у меня давно лежала на полке в каморке, без дела. Я чинил в доме — полки, штукатурку, желоба. В артели я не работал с того дня, как починил Лео полку в первый свой день. Казалось, уже не буду. Шимон вошёл ко мне в мою рабочую комнату, где я писал очередное слово дня, и сказал:

— Подними голову.

Я поднял. Шимон сел на скамью у окна, смотрел в одну точку у меня над плечом — у него была эта привычка, смотреть не в глаза, а чуть выше.

— Император строит форум. Большой, в сто дней работы, на пять лет. Мы смотрим. Подрядчика взяли нашего — ты его видел, он приходил к нам весной. Работать он будет добротню. Но на форуме каждый день — сенаторы, префекты, люди из канцелярии, все с разговорами, с жалобами, с планами. Нам нужен там человек, который услышит, не подслушивая. Каменщик. Бригадир нижнего ряда.

— Я.

— Ты.

— Я сто лет не клал плиту в артели, Шимон.

— Руки помнят. Мозоли не забыли. Я смотрел твои, когда ты на прошлой неделе штукатурил двор.

Я опустил глаза на ладони. Мозоли действительно сидели плотно — от ручки кельмы, от молотка, от рукояти точильного камня. Они у меня не сошли за сто лет, потому что мелкая работа по дому их поддерживала.

— Что ты от меня хочешь?

— Чтобы ты пошёл туда завтра. Прокул ждёт. Примут тебя старшим облицовщиком нижнего ряда, в артель шесть человек. Работать будешь как каменщик — нам нужно, чтобы всё стояло, плиты были ровные, шов в тень. Ремесло не имитируй: ремесло делай. Остальное — слушать, смотреть, вечером мне рассказывать.

— А писать?

— Писать ты будешь здесь, утром, до ухода. Одно слово дня, как всегда. Мирьям тебе оставит табличку на столе.

— Как я буду одновременно каменщиком на лесах и... это?

Шимон в первый раз посмотрел мне в глаза.

— Барухус — так ты теперь подпишешься в договоре — будет каменщиком. Барух будет слушать. Это одно тело, разные руки.

— Барухус.

— С римским гражданством, которое я тебе выправил два года назад. Документ лежит у Мирьям. Ты его ещё не видел — не было повода.

Я сидел и смотрел на стило в руке. Сило было то же, что и десять лет назад — бронзовое, с зелёным оттенком на конце, которое Лео мне когда-то заточил. Между стилем и кельмой разница была не в инструменте, а в назначении. Силом пишут одно; кельмой кладут другое.

— Хорошо, — сказал я. — Пойду.

— Иди. И ещё, Барух.

— Да.

— На стройке тебя будут звать Барухусом. Привыкай. Здесь, в доме, ты пока Барух. Когда перестанешь слышать разницу — придёшь и скажешь.

Он встал, вышел. Я остался сидеть над табличкой со словом дня. Слово было ΟΙΚΟΣ.
Дом.

* * *

Документ

Письмо Баруха сестре Ривке в Магдалу

Папирус, греческий язык, почерк уверенный

«Сестра. Посылаю десять динариев с курьером, который дойдёт до тебя через декаду. В этот раз чуть больше обычного: зимой работы было много, в Риме отстраивают несколько кварталов после прошлогоднего пожара, каменщикам платят щедро. Мне хорошо, не волнуйся. Живу там же, где жил, хозяева спокойные.

Пиши мне, как Натан и Элеазар. Хорошо ли ловится рыба. Как у вас зима. У нас в этом году было сухо и холодно — даже снег выпал один раз, первый снег, что я видел за годы. Он таял к полудню, но ночью лежал на крышах, и всё было белое, как извести.

Приехать пока не могу, не обижайся. Дела не пускают. Но думаю о тебе — когда пишу эти письма, думаю о тебе, когда переписываю слово в комнате у себя наверху, я тоже тебя вспоминаю: первое слово, которое я научился писать, ты ещё девочкой просила меня тебе назвать: "скажи, как называется камень". А я сказал — лапис. По-римски. Так и запомнил первым.

Береги себя. Если деньги не доходят вовремя, скажи через рыбаков тирского базара — у меня там знакомые, передадут быстрее.

Брат твой Барух»

На обороте, мелким почерком Мирьям, перед запечатыванием:

«Деньги ушли через Тиверию. Добавила два динария сверху: дорога длинная, зимой дороже. М.»

*

Письмо пришло через двадцать лет после того, как Мирьям сказала мне про моё медленное старение. За эти двадцать лет я о её словах почти забыл; принял их за её обычную язвительность и жил дальше. Работал, читал, переписывал слова Мирьям в её комнате. Писал Ривке раз в полгода, получал от неё ответы. Старился, как мне тогда казалось, нормально — просто в Риме нормально старились медленнее, я уже не удивлялся.

Пришло зимой, с караваном из Антиохии, мокрое по краям — дождь застал его на подходе к Риму.

Я был во дворе, чистил снег с крыши навеса — редкий в Риме снег, в ту зиму выпавший впервые за годы. Гершон снизу показывал мне, где подгребать, чтобы не сломить жёлоб. Мирьям вышла из дома, подошла к лестнице, подняла лицо. В руке у неё был небольшой кожаный футляр.

— Барух. Слезай. Из Магдалы.

Я слез. Футляр она протянула, не вскрывая. Печать я узнал сразу — сирийская, меняла в Кесарии ставил её на всё, что передавал дальше. Я снял печать, достал папирус, свёрнутый тонкой трубкой. На нём было четыре строки, неровным детским почерком, на плохом греческом, с ошибками, которые я мог теперь прочесть и исправить в уме.

«Дядя Барух. Я Юдит, дочь Натана. Бабушка моя Ривка ушла к Господу в месяц шват. Она тебя вспоминала. Дедушка Элеазар тоже умер, два года назад. Я пишу тебе сама. Мне восемь. Юдит.»

Я стоял с папирусом в руках. Снег на крыше продолжал таять; с жёлоба закапало. Мирьям ждала.

— Ривка умерла, — сказал я.

— Когда?

— В шват. Зимой.

— Кто написал?

— Внучка. Юдит, дочь Натана. Ей восемь.

Мирьям кивнула, ничего больше не спросив. Забрала футляр — как он был без печати, так и положила к себе в пояс, — и пошла в дом. Я остался стоять у лестницы с листком в руке.

Снег на крыше таял дальше.

Ривке, когда я ушёл из Магдалы, было семнадцать. Если сейчас её старшему сыну Натану уже дочери восемь лет, — дочь у Натана поздняя, значит, Натану лет сорок. Плюс те семнадцать, когда я ушёл. И ещё тот промежуток, сколько Ривка родила Натана после свадьбы — год или два. Я посчитал: Ривке было, если всё сложить... Я начал считать, сбился. Начал заново. Сбился снова. Числа у меня в голове лежали, как блоки в ряду, и я должен был их складывать ровно, но они не складывались. Какая-то цифра уходила вбок.

Я сел на ступеньку лестницы. Положил листок на колено. Стал считать на пальцах.

Я ушёл из Магдалы в двадцать восемь. Или двадцать девять. Или тридцать — я давно сбился. Из Кесарии я вышел... в каком году, я не помнил. Шёл я полтора года. В дом к Шимону пришёл — пусть будет тридцать один или тридцать два. Полку починил в тот же год. Латыни меня учили семь лет. Гесиода прочёл — значит, сорок. Пожар Рима случился когда — при Нероне, на двадцатый мой год в доме, или тридцатый? Я забыл. Ривка родила Натана... когда?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.